

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА «РУДИН»

Статья М. О. Габель

1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА И ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Появление в печати первого романа Тургенева («Современник», 1856, № 1 и 2) вызвало сразу же острые споры. Но и до опубликования «Рудина», еще тогда, когда была закончена лишь его первая, подвергшаяся затем изменениям редакция, он возбудил значительные толки среди друзей автора. Тургенев еще дорабатывает свое новое произведение, а Некрасов уже спешит поделиться с читателями «Современника» «литературной новостью»: «Недавно г. Тургенев окончил и отдал уже нам новую свою повесть под названием „Рудин“. По объему это — целый роман, а по содержанию, как последнее произведение таланта развивающегося, новая повесть г. Тургенева представляет и новые достоинства. „Современник“ считает себя счастливым, что может начать свой следующий год таким произведением»¹.

Вполне понятно, почему «Рудин» вызвал большой интерес. Это было в середине 50-х годов одно из первых и самых значительных произведений о передовом деятеле предшествующей эпохи. Актуальная проблематика романа, историзм, художественная манера Тургенева-романиста, его приемы типизации волновали и критиков, и читателей.

В том, что образ Рудина является широким обобщением типических черт передового дворянского интеллигента 30—40-х годов, не может быть сомнений. Это достаточно выяснено в нашем литературоведении. Вся жизнь Рудина, описанная в романе, построена на характернейших для лучших людей этой поры моментах: учение в Московском университете, участие в кружке, где увлекаются философией Гегеля, поездка в Берлин для занятий ею, «философские», надуманные романы, проповедь передовых идей в дворянских салонах и гостиницах, безрезультатные поиски дела. В этих жизненных обстоятельствах проявляется характер дворянского интеллигента 30—40-х годов, идеалиста-гегельянца, энтузиаста, блестящего оратора-просветителя, пропагандиста высоких и благородных идей, однако оторванного от русской жизни, не знающего главных ее задач и очень далекого от народа. Современники сразу же отметили типичность образа Рудина и даже его портретную близость к некоторым из знакомых им людей.

Что же касается вопроса об отношении автора к своему герою, то он еще не получил полного и четкого разрешения и нуждается, несомненно, в дополнительных исследованиях. Трудность ответа на этот вопрос объясняется очень сложной творческой работой Тургенева над романом (она растянулась на пять лет: 1855—1860), во время которой вносились важные дополнения, с новых сторон освещавшие характер Рудина.

Не вызывает никаких сомнений, что, создавая в 1855 г. свой роман, Тургенев ставил перед собой основную и главную задачу — дать истори-

ческую оценку людям предшествующего поколения, которых он сам метко назвал «лишними людьми». В известной мере «Рудин» — роман исторический. Действие его отодвинуто в прошлое: юность Рудина, университетские годы героя, участие в кружке Покорского относятся к 30-м годам, посещение Ласунской — к началу 40-х годов. Лежнев, Липина, Пигасов и Басистов ведут разговор о Рудине (гл. XII) через два года после его отъезда из усадьбы Ласунской. Встреча Рудина с Лежневым происходит в середине 40-х годов, а в 1848 г. Рудин гибнет в Париже на баррикадах ².

Роман «Рудин» был написан летом 1855 г. — «в самый разгар Крымской кампании» (ПСС XII, 304), как подчеркивал Тургенев в «Предисловии» к своим романам в собрании сочинений 1880 г.

Размышления над общественно-политической жизнью, над ее противоречиями, так резко обозначившимися именно в это время, над причинами, их породившими, естественно должны были привести Тургенева к раздумьям и об общественно-политическом деятеле современной эпохи.

Как хорошо известно, Крымская война не только обнаружила полную негодность феодально-крепостнической системы, но и вызвала новый подъем освободительного движения. Выступает новая фаланга борцов, «штурманы будущей бури», революционеры-разночинцы, с особенной силой растет массовое крестьянское движение.

«Я убежден, что с Крымской войны Россия входит в новую эпоху развития», — замечает Герцен, выражая мысли лучших людей России ³. «После Крымской войны повеяло весной, запахло „разрытой землей“, предвещавшей конец чему-то отживающему, бледному, как смерть, и разлагающемуся, как труп», — вспоминает позднее Тяпушкин, alter ego Гл. Успенского («Волей-неволей») ⁴.

Во время войны Тургенев был захвачен ее событиями. Летом 1854 г. он нанимает дачу в Петергофе, «чтобы быть на месте действия, или, выражаясь правильнее, чтобы не слишком отдалиться от центра, куда будут приходить все известия» (П II, 219) ⁵. «Блистательное отражение первого приступа французов к Аланду» не вселяет в него никаких радужных надежд. Аланд будет взят — «превосходство сил слишком велико — но он им станет дорого» (П II, 225). Его волнует судьба Севастополя: «Как бы хорошо было, если б прижали незваных гостей!» (П II, 239). Тяжелые мысли, порожденные войной, всё неотвязнее овладевают им, и через год он печально скажет: «...живем мы в невеселое время. Война растет, растет — и конца ей не видать, лучшие люди (бедный Нахимов!) гибнут — болезнями, неурожаем, падежи — у нас коровы и лошади мрут как мухи... Впереди еще пока никакого не видать просвету... Надо потерпеть. Еще разик, еще раз, как говорят бурлаки. Авось все это вознаградится с лихвою» (П II, 305). На известие о падении Севастополя он откликается грустным раздумьем: «Хотя бы мы умели воспользоваться этим страшным уроком» (П II, 311—312). После окончания войны он, как и Герцен, как и другие передовые люди, остро ощущает «веяние новой жизни, начавшейся на родине» (П III, 32).

Писатель, умевший улавливать биение времени, не мог не осознать, в чем заключается «страшный урок», полученный во время войны. Раздумывая над ним, он пришел к глубоким историческим выводам: не только протнила старая социально-политическая система в России, но вместе с тем изжил себя весь строй мыслей и чувств, ею порожденный. За провал Крымской кампании отвечало не только правительство; за него не могли не нести ответственности и передовые люди недавнего прошлого — дворянские интеллигенты. В лице Рудина Тургенев, как и до этого (в поэмах и повестях), судит своего современника, вступившего на общественное поприще в 30—40-х годах и являющегося теперь уже представителем старшего поколения.



*С. Петербург
1-го мая 1856*

Дорожному В. К. Бодиско

*И. Тургенев
В знак искренней приязни*

ТУРГЕНЕВ

Фотография С. Л. Левицкого. Петербург, 1856. С дарственной надписью:
«Любезному В. К. Бодиско Ив. Тургенев, в знак искренней приязни. С. Петербург. 1-го мая 1856»
Исторический музей, Москва

Тургенев написал «Рудина» очень быстро, в течение полутора месяцев (с 5 июня по 25 июля 1855 г.). По собственному признанию, он ни над одним своим произведением «так не трудился и не хлопотал, как над этим» (П II, 305). Он работал напряженно, с горячим увлечением, ему хотелось как можно лучше воплотить в художественную форму найденную им «порядочную мысль», «обдумать ее хорошенько, да обделать как следует» (П II, 305). Однако, закончив роман, Тургенев подвергает его в конце того же года доработке, вносит существенные дополнения, а в 1860 г. добавляет второй эпилог с описанием смерти Рудина на баррикаде в Париже во время революции 1848 года.

История создания романа была сложной и, естественно, вызывала интерес у тургеневистов. Изучению ее посвящены специальные работы М. К. Клемана и Г. В. Прохорова⁶. Точка зрения последнего почти безоговорочно принята в нашем литературоведении: авторы, пишущие о первом романе Тургенева, обычно или отзываются о ней хвалебно или же отсылают читателя к ней, высказывая этим свое согласие со взглядами исследователя⁷. Клеман лишь отмечает изменения и дополнения, сделанные Тургеневым в процессе работы, но не объясняет того, что побудило его отступить от первоначального замысла. Прохоров стремится дать эти объяснения и связать сложную творческую работу писателя с эволюцией его взглядов и с литературной борьбой в середине 50-х годов.

Казалось бы, именно таким путем и должен идти исследователь. Однако факты не всегда укладываются в предложенную Прохоровым схему, а довольно часто прямо ее опровергают. Вот почему стоит возвратиться к изучению творческой истории «Рудина». К этому нас побуждает еще один мотив. Никто из исследователей романа не ставил вопроса, *почему* Тургенев в 1860 г. вводит второй эпилог, освещающий героя новым светом. А ответ на него позволяет судить об идейных позициях писателя в период революционной ситуации 1859—1861 гг., помогает уяснить сложные противоречия его творчества, понять, почему он, либерал-постепенец, не разделявший «мужицкого демократизма» Чернышевского и Добролюбова, обращается к изображению революционной действительности.

По мнению Прохорова, Тургенев задумал критически остро изобразить «лишних людей», на что указывают составленные им в самом начале работы над романом его план и список действующих лиц⁸. Это, по мысли исследователя, исходный момент для суждения о первоначальном замысле Тургенева. Сопоставив план повести (как тогда определил Тургенев жанр своего произведения) и список действующих лиц с окончательной редакцией, Прохоров обнаруживает существенные отступления Тургенева от задуманной им трактовки главного героя и приходит к выводу, что резко критическое отношение автора к Рудину сменилось более мягким и снисходительным.

Исследователь объясняет эту ломку первоначального замысла возмущением, вызванным диссертацией Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». «Здесь дело шло о принципиальном, жизненном для Тургенева вопросе,— пишет Прохоров,— искусстве, которое новыми людьми низводилось до роли растрепанного учебника жизни, а из-за этого вопроса выдвигался и другой, более широкий: мы или они? <...> Позволительно думать, что Чернышевский и его диссертация и послужили для Тургенева ближайшим поводом, если не к полному пересмотру своего отношения к человеку сороковых годов — Рудину (Бакунину), то к значительному смягчению своего критического отношения к нему, по крайней мере, во второй, еще только писавшейся части романа; косвенным подтверждением этому может служить и перестройка романа, укорочение роли Пандалевского и, наоборот, расширение роли и значения Лежнева, который теперь сближается с Рудиним возрастом и относится

к нему с большим сочувствием <...>; ирония автора в отношении Рудина уступает место более объективному изображению его, снимается насмешливое заглавие „Гениальная натура“ <...> и заменяется нейтральным „Рудин“»⁹.

Прохоров полагает, что и в дальнейшей работе над романом Тургенев продолжает смягчать свое отношение к герою. После приезда в октябре 1855 г. из Спасского в Москву, а затем в Петербург Тургенев знакомит Некрасова, Боткина, Дружинина с законченным произведением. Убежденный советами друзей (особенно Боткина), совпадавшими с новой, уже наметившейся в «Рудине» тенденцией, Тургенев приходит к мысли еще больше реабилитировать своего героя и вносит в текст романа существенные изменения: вводит эпизод из истории кружков 1830-х годов, посвященный Покорскому — Станкевичу, дописывает эпилог. В результате первоначальный замысел был сломлен, а образ Рудина значительно изменился. «Собственно говоря, вся вторая половина романа, или, точнее, четверть его — это не что иное, как сочувственная авторская реабилитация Рудина, охарактеризованного им в первой части почти одними отрицательными чертами», — заключает исследователь¹⁰.

Далеко не все эти положения работы Прохорова убедительны. Во-первых, у него нет никаких оснований утверждать, что сейчас же после прочтения книги Чернышевского началось смягчение образа Рудина, что отношение автора к своему герою становится менее ироничным, что в связи с этим насмешливое заглавие «Гениальная натура» заменяется более нейтральным. Во-вторых, неправилен тезис, что «Тургенев был и остался в своей эстетике на идеалистических позициях Шеллинга и Гегеля», что он — «последовательный идеалист», в силу чего диссертация Чернышевского и вызвала его негодование.

Относительно эстетических взглядов Тургенева наше литературоведение пришло к диаметрально противоположным выводам. Все, кто писал о них (Н. В. Богословский, А. Лаврецкий, Н. Л. Бродский, Л. В. Павлов, К. Г. Чмшкян, Л. Н. Назарова)¹¹, настаивают на большой близости Тургенева к материалистической эстетике Белинского, хотя и признают, что у Тургенева были некоторые, впрочем не столь существенные, отклонения от нее, и нам нет нужды возвращаться здесь к этой проблеме.

Но вопросом — могла ли диссертация Чернышевского послужить толчком к коренной переработке образа Рудина? — следует заняться, так как его решение позволяет судить об идейных позициях писателя в середине 50-х годов, а без этого нельзя понять и истории его работы над романом.

2. ТУРГЕНЕВ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ в 1855—1856 гг.

Принято полагать, что Тургенев занял враждебную в отношении Чернышевского позицию, сразу после прочтения его диссертации. Эту точку зрения отстаивал, например, В. Е. Евгеньев-Максимов в работах о «Современнике» и в трехтомном исследовании «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (1947—1952). Однако если внимательно и беспристрастно рассмотреть все материалы, характеризующие отношение Тургенева к Чернышевскому, это безоговорочное утверждение придется отбросить.

Правда, хорошо известно, что «Эстетические отношения искусства к действительности» вызвали возмущение и негодование Тургенева: «... Чернышевского за его книгу — надо бы публично заклеить позором. Это мерзость и наглость неслыханная» (П II, 287). Прежде защищавший Чернышевского от нападок Дружинина, он дает клятву «отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности

недозволенными средствами!..» (П II, 293). Имея в виду авторецензию Чернышевского на свой трактат, подписанную Н. П.—ъ («Современник», 1855, № 6), Тургенев возмущается журналом, который «чуть не хвалит» диссертацию (П II, 290). Ее «не так бы следовало разобрать, как это сделал г-н Пыпин», — замечает он (П II, 297). Таково первое впечатление Тургенева от «Эстетических отношений искусства к действительности». Все приведенные и другие аналогичные высказывания относятся к периоду между 1 и 10 июля с. с. 1855 г.

Но проходит около двух недель, и впечатление Тургенева от книги Чернышевского несколько меняется: в его новых откликах на нее уже нет и следа прежнего негодования, резкого возмущения, нет глубоко несправедливых восклицаний по адресу Чернышевского.

Тургенев ведет деятельную переписку по поводу книги Чернышевского с Боткиным, взявшим ее под свою защиту. Боткин нашел в ней «много умного и дельного», поставил в большую заслугу Чернышевскому то, что он «прямо коснулся вопроса, всеми оставляемого в стороне», и положил в основу искусства природу. «С самого начала *реальной* школы — вопрос был решен против *абсолютного* значения искусства. Прежде противопоставляли природу и искусство; теперь природа стала фундаментом искусству — *es sind Rosen, die zugleich im Himmel glühen**. Что такое собственно поэзия, как не прозрение в сокровеннейшую сущность *вещей*? т. е. действительности»¹². Нащупав основную точку зрения Чернышевского, Боткин все же воспринял его эстетическое учение чрезвычайно абстрактно. Он согласился с Чернышевским, что предмет искусства — действительность, но не задумался над тем, какой смысл вкладывает Чернышевский в понятие действительности. Сам же Боткин понимает «действительность» идеалистически: поэзия для него — «прозрение в сокровеннейшую сущность вещей».

Если даже эстет Боткин признал заслугу Чернышевского в том, что он обосновал теорию реалистического искусства, положив в его основу жизнь, то тем более Тургенев, друг, ученик и последователь Белинского, разделявший его литературно-эстетические взгляды, не мог не признать в конце концов правильными основные положения материалистической эстетики Чернышевского. Очень возможно, что форма изложения в трактате Чернышевского, казавшаяся Тургеневу «безжизненной и сухой» (П II, 297), настроила его против диссертации. Уж очень она отличалась своим строго деловым, отвлеченно-логическим стилем от дорогих Тургеневу критических статей Белинского, всегда взволнованных, эмоциональных, с лирическими отступлениями, с репликами в сторону, с живой образностью, со свободным течением мысли, с обильными литературными иллюстрациями.

Основные эстетические положения Чернышевского: «прекрасное есть жизнь», «искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни», произведения искусства являются «объяснением жизни: часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни»¹³, — не могли вызывать возражений Тургенева. Ведь Чернышевский развивал мысли Белинского, которые разделял и Тургенев. Еще в 1851 г. в статье о романе Евгений Тур «Племянница» он писал, что жизнь является «вечным источником всякого искусства» (ПСС V, 369). А в письме к Боткину от 17/29 июня 1855 г., то есть совсем незадолго до своего знакомства с «Эстетическими отношениями искусства к действительности», он говорит об общественном значении литературы: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент

* Это розы, которые к тому же рдеют в небесах (нем.).

самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица» (П II, 282).

Защитник тезиса об общественном назначении искусства, Тургенев был противником теории искусства для искусства: «Горе писателю, который захочет сделать из своего живого дарования мертвую игрушку, которого соблазнят дешевый триумф виртуоза, дешевая власть его над своим опошленным вдохновением» (ПСС V, 424). Сам Тургенев был не только сторонником критического, «гоголевского» направления, но и одним из его блестящих представителей.

В споре о «гоголевском» и «пушкинском» направлениях автор «Рудина» занял свою особую позицию, более близкую к демократам, чем к эстетам. Он не противопоставлял Пушкина Гоголю, не считал его, как Дружинин, поэтом «чистого искусства» и мечтал о синтезе пушкинской и гоголевской традиций.

Продумав основные положения книги Чернышевского, Тургенев в итоге выдвинул против нее лишь одно обвинение — в умалении роли искусства: «... в его <Чернышевского> глазах искусство есть, как он сам выражается, только суррогат действительности, жизни — и в сущности годится только для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него лежит в основании всего. А это, по-моему, вздор» (П II, 300—301). Тургенев обвиняет Чернышевского в отрицании роли искусства как средства познания жизни. «В действительности нет шекспировского Гамлета — или, пожалуй, он есть — да Шекспир открыл его — и сделал достоянием общим. Чернышевский много берет на себя, если он воображает, что может сам всегда дойти до этого сердца жизни...» (П II, 301). Недооценка искусства, усмотренная Тургеневым в «Эстетических отношениях искусства к действительности», отталкивала его еще и потому, что в условиях николаевской реакции литература была трибуной, с которой слышались передовые мысли. «Эта худо скрытая вражда к искусству — везде скверна — а у нас и подавно. Отними у нас *этот* энтузиазм — после того хоть со света долой беги» (П II, 296—297), — писал Тургенев Некрасову.

Писатель нащупал в диссертации Чернышевского наиболее уязвимое место. Советские исследователи¹⁴ указали на ошибочность тезиса диссертации Чернышевского — «природа и жизнь выше искусства»¹⁵, — а также его утверждения, что произведение искусства относится к действительности, как гравюра к картине, с которой она сделана, что искусство нужно, чтобы восполнить наше незнание жизни. Эти теоретические ошибки Чернышевского исторически объяснимы. С одной стороны, они результат известной ограниченности его философского материализма, с другой, — они вытекают, несомненно, из стремления Чернышевского заострить главную мысль о жизни — основе искусства, поднять «действительность» как эстетическую категорию над идеалистическим понятием красоты. Борьба с идеалистической эстетикой, с реакционной теорией искусства для искусства привела Чернышевского к превознесению природы над искусством.

Сосредоточив внимание на ошибочном положении Чернышевского, что произведения искусства служат «суррогатом» действительности, и не поняв, что книга Чернышевского наносила сокрушительный удар по идеализму и теории «чистого искусства», Тургенев сделал необоснованный вывод об отрицании Чернышевским искусства вообще¹⁶ и его познавательного характера, в частности, тогда как Чернышевский не только не приносил значения искусства, а стремился доказать его широкую общественно-преобразующую роль. Ошибка Чернышевского была, несомненно, сильно преувеличена Тургеневым. Но при всем этом он не мог не видеть в диссертации Чернышевского развития эстетических принципов Белинского. Вот почему он с одобрением отзывался о критической

деятельности Чернышевского и принимает с большим сочувствием «Очерки гоголевского периода русской литературы», где эстетическая теория Чернышевского нашла свое блестящее приложение к изучению русской литературы 40-х годов и где впервые дана была в основном исторически правильная оценка деятельности Белинского.

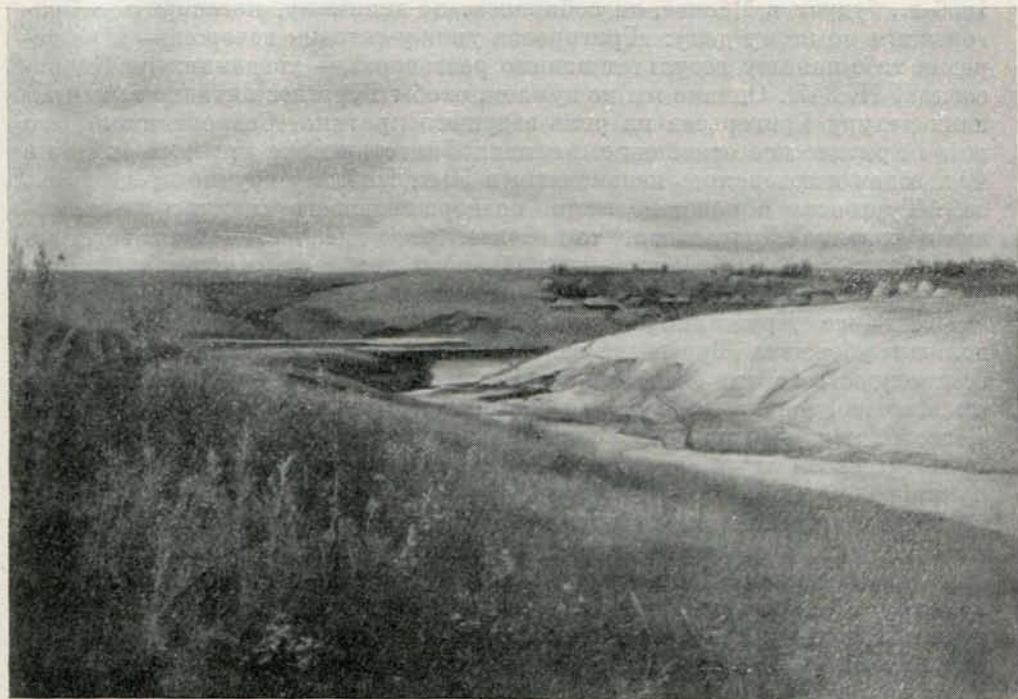
На первый взгляд получается резкое противоречие: Тургенев отвергает теоретические взгляды Чернышевского на искусство и вместе с тем принимает его критическую практику, от начала до конца основанную на его эстетической теории. Но противоречие это кажущееся, ибо главные положения материалистической эстетики Чернышевского, как указывалось выше, разделялись самим Тургеневым. Вот почему он защищает автора «Очерков» от несправедливых нападков Дружинина (а вместе с ним и Боткина).

В кружке Боткина — Дружинина «Очерки» встретили неприязненно, потому что Чернышевский, воспользовавшись напечатанными главами «Былого и дум» Герцена, дал характеристику связанных с Белинским людей 40-х годов, тогда еще живых¹⁷. Негодующий тон этих отзывов был продиктован, несомненно, страхом. Упоминание в «Очерках гоголевского периода русской литературы» о бывших членах кружка Белинского показалось Боткину, Дружинину и другим весьма опасным: это могло обратить на них нежелательное внимание правительства. О том, как «трухнули» Анненков и Боткин, сообщил Тургеневу Е. Я. Колбасин 18 октября 1856 г.¹⁸

Тургенев не разделял страха своих друзей и взял «Очерки» под защиту. «Я досадую на него за его сухость и черствый вкус — а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми <...>; но „мертвечины“ я в нем не нахожу — напротив: я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в критике. Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда; критик не делает поэтов и не убивает их; но он понимает — как это выразить? — потребности действительной современной жизни — и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович — а самый корень всего его существования. Впрочем, довольно об этом; я почитаю Чернышевского полезным; время покажет, были ли я прав» (П III, 29—30)¹⁹. Он радуется, что Чернышевский вспомнил дорогое ему имя Белинского: «...я с сердечным умилением читал иные страницы»; «...я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Б(елинском) — выпишам из его статей, радуюсь тому, что наконец произносится с уважением это имя» (П III, 23 и 43)²⁰.

Тургенев ценит «Очерки» не только потому, что они воскресили память о Белинском в то время, когда правительство Николая I всячески добивалось его забвения. Он признает шестую статью «Очерков» «прекрасной», отмечает, что иные страницы его «истинно тронули» (П III, 27). Привяв «Очерки гоголевского периода русской литературы», Тургенев считает, что Чернышевский «без всякого сомнения, лучший наш критик», который «более всех понимает, что именно нужно». После возвращения в Россию Тургенев хочет «сблизиться с ним более, чем до сих пор» (П III, 21). Отличной назвал он статью Чернышевского «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» (П III, 236). Обратил внимание Тургенев и на первую историко-литературную работу Добролюбова «Собеседник любителей русского слова, 1783—1784». Он писал, что она «весьма дельна» (П III, 27)²¹.

Итак, у Тургенева было весьма сочувственное отношение к Чернышевскому-критику, которого он не осуждает, как не раз утверждалось литературоведами, а признает его деятельность полезной, так как он прекрасно разбирается в животрепещущих вопросах современности. В оценке



СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

Картина маслом Н. К. Бодаревского, 1880-е годы

Музей им. А. Н. Радищева, Саратов

В Спасском был написан роман «Рудин» (первая редакция)

Чернышевского писатель не был солидарен с защитниками теории искусства для искусства, как на этом категорически настаивал, например, В. Д. Бонч-Бруевич²².

Признавая Чернышевского-критика, Тургенев не принимал участия в кампании против него, дважды поднятой Дружининым и Боткиным. О первой попытке подчинить своему влиянию «Современник», сделанной летом 1855 г., когда они в Москве «мимоходом внушали Некрасову разные полезные истины на счет „Современника“», извещал Тургенева Дружинин²³. Тургенев не поддержал Дружинина в этом нажиме на Некрасова.

Вторая проба удалить Чернышевского из «Современника» была сделана Боткиным весной 1856 г., когда он настойчиво рекомендовал Некрасову Ап. Григорьева, готового переехать в Петербург и взять на себя всю критику «Современника» при условии, если в журнале не будет участвовать Чернышевский. Свое письмо к Некрасову с предложением пригласить Григорьева критиком «Современника» Боткин отослал через Тургенева — очевидно, с просьбой передать письмо Некрасову и поговорить с ним по этому вопросу. Об этом свидетельствуют записка Тургенева к Некрасову («Прочти и пришли мне обратно прилагаемое письмо Боткина, — да не заедешь ли ты сам, чтобы переговорить о Григорьеве?» — II II, 345) и слова Боткина в письме к Некрасову: «Переговори-ка об этом с Тургеневым, — а право об этом стоит подумать»²⁴.

Неизвестно, состоялась ли эта беседа, а если состоялась, то в какой мере Тургенев поддерживал кандидатуру Григорьева. Правда, в мае

1856 г., будучи в Москве, он собирался, по-видимому, поговорить с Григорьевым по этому делу: «Григорьева увижу сегодня вечером — и из деревни тебе напишу результат нашего разговора», — уведомлял он Некрасова (П II, 347). Однако мы не думаем, чтобы Тургенев активно выдвигал кандидатуру Григорьева на роль ведущего критика «Современника»; его резко критическое отношение к славянофильству ярко проявилось еще в 40-х годах и оставалось неизменным в 50-х. Поэтому трудно представить себе Тургенева в качестве лица, поддерживающего славянофильствующего критика Григорьева, тем более, что идеалистическая эстетика последнего с ее требованием интуитивного познания законов искусства не могла вызвать сочувствия у Тургенева-реалиста.

Когда же Дружинину пришлось покинуть «Современник», он продолжал убеждать Тургенева взять контроль над журналом, а то «ответственность за это безобразие» (Дружинин имел в виду статьи Чернышевского) падет на Тургенева «и станут говорить, что Тургенев и Толстой, наиболее поэтические из наших писателей, и поэт Некрасов терпят в своем журнале отрицание поэзии и вместо того показывают кукиши в кармане»²⁵.

Как реагировал на эти дружининские демарши Тургенев?

У Тургенева во второй половине 1856 г. не было особых опасений за судьбу «Современника», хотя некоторые новшества в жизни журнала вызывали у него тревогу. Так, когда осенью 1856 г. больной Некрасов надолго уехал за границу и в «Современнике» остались вместо него Панаев и Чернышевский, у Тургенева возникли известные сомнения в том, что журнал находится в надежных руках. Но вскоре он начинает убеждаться, что Панаев и Чернышевский в состоянии «очень хорошо вести журнал» (П III, 17). Впрочем, он в то же время пишет, что, по его мнению, Чернышевский нуждается в менторе, а Панаев в няньке. Замечание это, однако, не относится к общему направлению журнала, а вызвано тем, что у Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы» проявилось «неперемонное обращение с живыми людьми» (П III, 23).

В начале декабря 1856 г. Тургенева обеспокоило полученное от Дружинина известие о разразившейся над «Современником» цензурной буре, вызванной перепечаткой трех стихотворений Некрасова («Поэт и гражданин», «Забятая деревня», «Отрывок из путевых записок графа Гараиского») в заметке Чернышевского о только что выпедшем сборнике стихотворений поэта. Узнав об опасности, нависшей над журналом, Тургенев заявляет: «А что „Современник“ в плохих руках — это несомненно» (П III, 54). Однако из контекста очевидно, что этот упрек всецело относится к Панаеву. И Тургенев, и Некрасов винили именно его за эту цензурную историю. Еще неискушенный в цензурных делах Чернышевский в их глазах нес ответственность в меньшей степени, чем Панаев, проявивший непростительное легкомыслие. «Панаев неисправим, я это знал, — писал Некрасов Тургеневу 6/18 декабря 1856 г. — Гроза могла миновать „Современник“, будь хоть ты там. Такие люди, как он, и трусят и храбрятся — все некстати. Я не меньше люблю „Современник“ и себя или мою известность, — недаром же я не решился поместить „Поэта и гражданина“ в „Современник“? Так нет! Надо было похрабриться. Впрочем, Панаева винить смешно: не гнилой мост виноват, когда мы проваливаемся»²⁶. Тургенев тоже резко отзывался о «выходке» Панаева, но Чернышевского в этой связи он не упоминает; Тургенев полагает, что «Панаев поступил как мальчишка», называет его «неисправимым свистуном» (П III, 50, 51).

Итак, если учесть все данные, характеризующие отношение Тургенева к Чернышевскому в 1855—1856 гг., то станет ясным, в какой мере не соответствует действительности точка зрения Прохорова и всех тех, кто ее разделяет. Нет сомнений, отношение Тургенева к Чернышевскому было

сложным. Чернышевский как человек был ему не по душе, казался сухим и черствым. Его слог не нравился автору «Рудина». В эстетической теории Чернышевского Тургенев, как мы видели, разобрался не до конца и, исходя из ошибочного положения Чернышевского — искусство суррогат действительности, — пришел к неправильному заключению об отрицании великим публицистом «Современника» искусства вообще. Зато критическую его деятельность он признавал и нужной и полезной, отвечающей запросам современности. Вот почему нет никаких оснований для утверждения, что в момент создания «Рудина» у Тургенева уже мог возникнуть вопрос: «мы» или «они»? Тем более, что тогда еще не было резкого размежевания либерального и революционно-демократического лагерей, как это произошло в период революционной ситуации 60-х годов. В. И. Ленин, говоря о борьбе за новую Россию «двух исторических тенденций, двух исторических сил», представителями которых были либералы 60-х годов и Чернышевский, определяет точные хронологические границы этой борьбы. Он указывает, что либеральная и демократическая тенденции «в 1861-м году только наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе», а затем в течение полувека, после 19 февраля, развивались и «расходились все яснее, определеннее и решительнее»²⁷. Совершенно ясно, что общественно-политическая обстановка в России в 1855 г. и в 60-х годах не была одной и той же. Поэтому необоснованно переносить характер отношений Тургенева с революционными демократами в 1860 г., когда он порвал с «Современником», на 1855 г., когда у Тургенева еще не зарождалась мысль о возможности разрыва с журналом и когда Чернышевский еще не начал борьбы с Тургеневым, а считал его «честью нашей литературы»²⁸.

Таким образом, следует отбросить точку зрения Прохорова и всех, кто ее разделяет, о зародившейся под влиянием диссертации Чернышевского враждебности Тургенева к революционерам-демократам. Этой причиной не может объясняться происшедшее якобы в ходе работы резкое изменение замысла романа, так как этой причины еще не существовало.

3. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД РОМАНОМ

а Заглавие «Гениальная натура»

Был ли сломлен, как полагает Прохоров, в процессе работы над романом его первоначальный замысел — резко критически подойти к главному герою? В какой степени изменилось отношение Тургенева к Рудину? В какой мере общественно реабилитирован в романе «лишний человек»? Правильный ответ на эти вопросы существенно важен, он должен явиться ключом не только к пониманию идейного смысла романа, но и к определению места Тургенева в историко-литературном процессе и в общественной борьбе 1855—1856 гг.

Начнем с заглавия романа. Анненков, видевший его черновую рукопись, сообщает: «Повесть была первоначально озаглавлена: „Гениальная натура“, что потом было зачеркнуто и вместо этого рукой Тургенева начертано просто: „Рудин“»²⁹. Принято считать заглавие «Гениальная натура» ироническим³⁰. По предположению Прохорова, оно было заменено более нейтральным «Рудин», так как авторское отношение к Рудину смягчилось под влиянием неприязненного отношения к диссертации Чернышевского.

Однако можно найти и более простое и при этом более веское объяснение, почему Тургенев отбросил заглавие «Гениальная натура». В пятом номере «Современника» 1855 г., в панаевских «Заметках и размышлениях Нового поэта по поводу русской журналистики», был напечатан фельетон

о «гениальной натуре». Тургенев познакомился с ним после того, как приступил к работе над Рудиным. «Я не имел времени прочесть всего номера (5-го) „Современника“ — но он мне кажется удачно и приятно составлен», — сообщает он Панаеву 13/25 июня 1855 г. Роман же был начат 5/17 июня. Прочитав «Заметки и размышления Нового поэта», Тургенев, видимо, решил отбросить ранее придуманное заглавие — уж слишком оно походило на заимствование, тем более, что между фельетоном Панаева и романом Тургенева оказались и некоторые сюжетные совпадения.

«Новый поэт» начинается фельетон с рассказа об одном своем приятеле; «существе не совсем обыкновенном»; товарищи называли его гениальной натурой, но из него ничего не вышло. Был он мечтателем и романтиком, поэтом и ученым, занимался философией, но все его начинания обрывались, оставались не законченными. И личная жизнь этого человека не удалась, потому что он не верил в силу своего чувства. Задумчивый, печальный и мечтательный, герой фельетона писал стихи, рассказы и был истинным поэтом; но стихи свои он уничтожал, так как им часто овладевал сплин; он учился в Берлине, занимался философией и мечтал о научной деятельности, затем уехал в Париж, где вел рассеянную жизнь, познакомился с «погибшим, но милым созданием»; с этой подружкой отправился в Пиренеи, где и привел ее к полному раскаянию; однако она вскоре убежала со знакомым французом. Герой вернулся в Россию с расстроенным состоянием, снова мечтая о научной работе, но не осуществляя своей мечты. Приятели, считавшие его ранее гениальной натурой, стали отзываться о нем как о пустом человеке. В него влюбилась богатая вдова, но он бежал от нее, поселился в маленькой деревеньке, много читал, наслаждался природой, наконец, полюбил замечательную девушку, но и этот роман почему-то оборвался; в конце концов он заболел чахоткой и умер. Доктор, его лечивший и хорошо знавший, сказал о нем: «Это чудная, богатая натура. Право, обидно, что эта жизнь, так полная внутренним содержанием, прошла бесплодно. Вся она ограничивалась одними мечтаниями, стремлениями, порывами»³¹.

Фельетон Панаева и роман Тургенева воспроизводили одни и те же сюжетные ситуации, одни и те же типические черты «лишнего человека», идеалиста 30—40-х годов. Для «гениальной натуры» Панаева и для Рудина характерна идеальная, платоническая любовь к женщинам вообще и к женщине легкого поведения в особенности; они стремятся своей чистой любовью ее облагородить и просветить. Пигасов рассказывает Александре Павловне «анекдот» из жизни тургеневского героя: живя в немецком городке на Рейне, Рудин решил, что ему должно влюбиться, и познакомился с француженкой, прехорошенькой модисткой. Он приносил ей книги, говорил о природе и Гегеле, однажды назначил свидание на Рейне, в лодке, во время которого гладил ее по голове и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность.

Сходные поступки были и у «гениальной натуры» Панаева. И он дарит берлинской продавщице апельсинов книгу Шиллера, и он беседует о Мюссе, о природе со своей случайной подружкой. Головная, созданная воображением, любовь русских идеалистов 30—40-х годов выражалась в формах, запечатленных Тургеневым и Панаевым независимо друг от друга. Панаев передает в «Литературных воспоминаниях» аналогичный эпизод из жизни К. С. Аксакова, который, живя в Берлине, преподнес уличной продавщице собрание сочинений Шиллера³².

Итак, мы думаем, что замена заглавия «Гениальная натура» на «Рудин» не была продиктована впечатлениями от диссертации Чернышевского. Она была вызвана естественным желанием устранить близость к только что напечатанному фельетону Панаева. Однако новый вариант

заглавия не помешал Тургеневу сохранить мотив «гениальности» своего героя, причем во второй части (гл. XII), в которой, по мнению Прохорова, наиболее отчетливо выступает намерение реабилитировать «лишнего человека». «Престарелая дева» «будет думать о нем как о гениальнейшем человеке в мире», — заявит насмешливо Пигасов. «Рудин — гениальная натура», — скажет Басистов. «Гениальность в нем, пожалуй, есть, а натура ... В том-то всяго беда, что натуры-то собственно в нем нет», — сделает примирительное замечание Лежнев. Еще до этого о гениальности Рудина говорила Ласунская: «Положим, он умен, он гений! да что же это доказывает? После этого всякий может надеяться быть моим зятем?» (гл. XI). Признание Ласунского Рудина гением звучит в сущности иронией; к тому же эта ирония подчеркнута словом — «всякий» — ведь «всякий» не бывает гением. Слова же Басистова о «гениальной натуре» употреблены в том смысле, какой вкладывали в это выражение передовые люди 30—40-х годов. Одно из излюбленных выражений идеалистов этих лет, оно служило для характеристики яркой, сильной, творческой индивидуальности, человека большой нравственной красоты, подчиняющего людей своим моральным обликом, пробуждающего в них лучшие свойства³³.

Изменив заглавие, Тургенев все же не отказался от весьма характерной исторической черточки и поставил вопрос о «гениальности» Рудина так, как его могли ставить люди 1830-х годов.

6. Образ Рудина на первом этапе работы над романом

Для того чтобы судить, в каком направлении изменялся замысел романа в первый период работы над ним (в Спасском), нужно прежде всего сравнить написанную тогда часть романа с предварительно составленным планом. Это легко сделать, так как известно, что было внесено Тургеневым в текст романа после приезда в Петербург в октябре 1855 г.: он «развил» и дописал сцену импровизации Рудина, ввел характеристику кружка Покорского, первую часть эпилога, посвященную встрече Рудина с Лежневым и их беседе в гостинице губернского города*.

В группу существенно важных дополнений, сделанных в Петербурге и указываемых в работах о «Рудине», следует ввести еще один отрывок, о котором обычно не упоминают, вероятно полагая, что он входил уже в первую редакцию.

План романа предусматривал XIV главу, которая должна была быть эпилогом: «Последняя глава. Г-н Пандалев<ский> уезжает в Петербург с Л<асунско>й. Маша выходит за Волын<цева>. А<лександра> П<авловна> за Лежнева — <нрзб.> разговор о Рудине» (ПСС VI, 466).

Эта часть плана полностью реализована в XII главе окончательного текста. Надо думать, что разговором о Рудине и завершалась редакция романа, созданная в Спасском. Между тем, в окончательном тексте после разговора о Рудине имеется дополнение, в котором Тургенев переносит читателя из усадьбы Липиной, вышедшей замуж за Лежнева, в иную обстановку: «В тот самый день, когда все, рассказанное нами, происходило в доме Александры Павловны, — в одной из отдаленных губерний России тащилась, в самый зной, по большой дороге, плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей».

Можно сделать весьма вероятное предположение, что эта вторая часть XII главы была написана не в Спасском, а в Петербурге. Основа-

* Вторая часть эпилога — сцена смерти Рудина на баррикадах в Париже — не принимается нами сейчас во внимание, потому что она была добавлена через пять лет и появилась в IV томе «Сочинений» Тургенева, изданных Н. А. Основским в 1860 г. Об этом завершающем этапе работы над романом будет сказано далее.

нием для этого является несколько иная трактовка Рудина, чем в предшествующих частях романа. Герой приближен здесь к Рудину из первой части эпилога, где рассказано о последней его встрече с Лежневым. В конце XII главы Рудин бегло показан в новый период своей жизни, когда «пора его цветения видимо прошла»: он постарел, «серебряные нити заблистали кой-где в кудрях, и глаза, все еще прекрасные, как будто потускнели; мелкие морщины, следы горьких и тревожных чувств, легли около губ, на щеках, на висках». Эта сцена и эпилог выдержаны в одном и том же грустном тоне, с той только разницей, что в эпилоге еще более усилена скорбная лирическая окраска. В них дан сходный образ Рудина — бездомного путника, которому все равно, куда ехать (гл. XII), «бесприютного скитальца» (в эпилоге).

Дописав в Петербурге эпилог, Тургенев не мог не увидеть, что между эпилогом и XII главой, подводящей итог всем событиям, ранее рассказанным, образовался значительный разрыв — необоснованным был переход от характеристики Рудина, сделанной Лежневым в XII главе, к образу скитальца из эпилога. И Тургенев, сочтя нужным перекинуть между ними мостик, дописал вторую часть XII главы, где в образе Рудина уже намечаются контуры его облика, обрисованного в эпилоге. «Было что-то беспомощное и грустно-покорное в его нагнутой фигуре», — скажет Тургенев в XII главе, а в эпилоге он подчеркнет: «Черты Рудина изменились мало, особенно с тех пор, как мы видели его на станции», но во всем его существе с большей силой «высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь».

Вторая часть XII главы и первая часть эпилога неразрывно связаны. То, что дано в конце XII главы, лишь усиливается в эпилоге. Тесная, внутренняя связь, их соединяющая, заставляет предполагать, что написаны они одновременно³⁴.

Итак, чтобы судить о первоначальном замысле Тургенева, воплощенном в первой редакции, созданной в Спасском, следует сопоставить план романа с главами, написанными летом 1855 г., причем нет нужды останавливаться на тех чисто технических отступлениях от плана (изменение фамилий, соединение или разделение глав и т. п.), которые ничего не дают для уяснения замысла произведения. Они указаны Клеманом, Прохоровым, Битюговой.

Кроме этого, можно отметить ряд фабульных отступлений от плана. Так, в плане свидание у пруда не приводило к разрыву Маши (в плане Наталья Ласунская носит это имя) и Рудина (IX гл. плана), так как дальше намечалось еще одно, уже «последнее объяснение Р(удин)а с Машей» (гл. XII плана). В плане подчеркнуто большое влияние Рудина на Александру Павловну. Рудин хочет обратить внимание Липиной на Пандалевского и отвлечь ее от Лежнева: «А(лександра) П(авловна) подпадает под влияние Рудина. П(андалевски)й очень за ним ухаживает — разгов(аривая?) <нрзб.>, что он рекомендует ей П(андалевск)ого и словно(?) критикует Лежнева. А(лександра) П(авловна) однако не может верить его <нрзб.>» (ПСС VI, 466). Этот пункт плана не был реализован, вероятно, потому, что оказалось ненужным еще раз подчеркивать склонность Рудина к несколько бесперемонному вмешательству в личные дела своих знакомых и его неумение разбираться в людях. Такие черты Рудина уже вполне обнаружились в предшествующей главе (IX) плана, где Рудин сообщает Волынцеву о своей любви к Маше. Все эти фабульные изменения также почти ничего не дают для суждения о том, как был задуман характер Рудина.

План романа очень схематичен, он дает только фабульные вехи, указывает лишь на отношения действующих лиц между собой. Судить по нему о характере Рудина и об отношении автора к своему герою нель-



СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО. «БЕСЕДКА РУДИНА» В ПАРКЕ

Фотография В. С. Молчанова, 1963

Литературный музей, Москва

Здесь, по преданию, Тургенев работал над романом. Беседка не сохранилась

зя — в нем нет для этого материала. Поэтому неправомерен сделанный Прохоровым вывод о том, что резко критический в отношении «лишних людей» замысел уже в Спасском был поломан, что «вся вторая половина романа или, точнее, четверть его — это не что иное, как сочувственная авторская реабилитация Рудина, охарактеризованного им в первой части почти одними отрицательными чертами»³⁵. Как раз в последней четверти романа выступает главная особенность «лишних людей» — их общественная дряблость, полная неспособность к действию, пассивность и покорность. В сцене у Авдюхина пруда ярко проявились слабость и малодушие Рудина, его готовность «покориться». В дальнейшем повествовании также нет «реабилитации» Рудина. Здесь приведены два письма героя — одно к Волинцеву, другое к Наталье. В первом Рудин стремится оправдать себя тем, что он ошибся в Волинцеве. Второе представляет собой исповедь и покаяние. Вряд ли их можно рассматривать как «реабилитацию» Рудина, особенно письмо к Наталье — признание в той самой общественной несостоятельности, в которой она его обвиняла во время свидания у Авдюхина пруда.

Остается еще один заключительный эпизод в XII главе, когда Липина, Лежнев, Пигасов и Басистов беседуют о Рудине через два года после его отъезда из усадьбы Ласунской. Но и здесь нет ничего возвеличивающего тургеневского героя. В этой главе Пигасов резко выступает против Рудина: он, по его предположению, «где-нибудь сидит да проповедует. Этот господин всегда найдет себе двух или трех поклонников, которые будут его слушать разиня рот и давать ему взаймы деньги, (...) умрет где-нибудь в Царевококшайске или в Чухломе — на руках престарелой девы в парике, которая будет думать о нем, как о гениальнейшем

человеке в мире». Он — «лизоблюд», «все друзья и последователи Рудина со временем становятся его врагами».

Возражения Пигасову Басистова недостаточно категоричны. В одном случае: «Вы очень резко о нем отзываетесь,— заметил вполголоса и с неудовольствием Басистов», в другом: «Прошу меня исключить из числа таких друзей! <которые становились врагами Рудина> — с жаром перебил Басистов». От поклонника и ученика Рудина можно было бы ожидать более решительного выступления. Ведь несколько дальше он скажет: Рудин «не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя!».

Защитительная речь Лежнева строится сначала на отрицании недостатков, приписываемых Рудину. Он — «не мелкий человек», «не актер <...> не надувало, не плут; он живет на чужой счет не как проныра, а как ребенок», «в нем натуры, крови нет», природа ему отказала «в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы»; он не знает России. Указав на то, чего нет в Рудине, Лежнев подчеркивает в нем и положительное — энтузиазм, которым он «хоть на миг нас расшевелит и согреет», энтузиазм, благотворно действующий на молодежь. А затем Лежнев делает беспощадный вывод о причине причин несостоятельности Рудина — о его космополитизме и беспочвенности. Трудно видеть здесь реабилитацию «лишнего человека». «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает,— объясняет Лежнев,— и это, точно, большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».

Тургенев выдвинул тяжелое обвинение. Он развил в «Рудине» мысли, которые за десяток лет перед этим высказывал Белинский. Выступая против западников-космополитов, «междоумков, которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски», великий критик писал: «жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве»³⁶.

Слова Лежнева об отрыве Рудина от родной почвы не являются чем-то новым в характеристике героя, а обобщают сказанное о нем ранее. Уже в начале романа, при первом своем появлении (гл. III), Рудин заявляет: «Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать?» Эти справедливые слова Рудина — красивая фраза, не подтвержденная его жизнью. Наоборот, они обращены против него; это он не имеет твердой почвы под ногами; это он не знает своего народа, его потребностей и стремлений, это он не ведает, что нужно делать. Тонкими штрихами подчеркивает Тургенев отрыв Рудина от национальных корней. Вот он беседует с Ласунской. «Она щеголяла знанием родного языка, хотя галлицизмы, французские словечки попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо» (гл. IV). Последнее замечание Тургенева — о глухоте Рудина к русскому народному языку — важная деталь в его характеристике. Да и «красноречие его нерусское», — по словам Лежнева (гл. VI). Речи его наполнены содержанием, не связанным с русской культурой и русской жизнью. Он не знает русского искусства и не интере-

суется им, зато любит немецкую музыку и литературу. Он просит Наталью сыграть «Erlkönig» Шуберта, а Пандалевского — Бетховена. Он читает Наталье гётевского «Фауста», Гофмана, письма Беттины, Новалиса. Он «был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир» (гл. VI).

Германолюбие Рудина — одна из типичнейших черт «лишнего человека» 30—40-х годов. Оно было формой выражения его духовного бегства из николаевской России. Не созревший для борьбы, он погружался в немецкую романтическую поэзию, в немецкую идеалистическую философию, чтобы спастись от «свинцовой эпохи» деспотизма и крепостничества в тонкостях философских умозрений и устремлениях к высокому и идеальному немецких романтиков. Уместно вспомнить при этом, что Герцен, ценивший германскую культуру, прекрасно отдавал себе отчет в том, как германский идеализм воспитывал аполитические настроения. Русские поклонники немецкой идеалистической философии, говорит он в «Былом и думах», «дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес...»³⁷.

Один из типичных представителей 40-х годов, деятельный советчик Тургенева в вопросе о доработках «Рудина», Боткин признавался на склоне своих дней, что всем своим духовным развитием он обязан Германии, что ему по сердцу немецкая философия, немецкая поэзия, «даже немецкий комизм». «Станкевич и Грановский, вся моя юность клонит меня к Германии, все мои лучшие идеалы выросли здесь, все первые восторги музыкой, поэзией, философией шли отсюда»³⁸.

Страстное увлечение немецкой культурой пережили и Герцен, и Белинский, и Тургенев, и многие другие. Но у русских западников типа Боткина это увлечение сочеталось с отрицанием русской культуры, с принижением русского искусства. Боткин спрашивает: «Виноват ли я в том, что мне баллады Шиллера в тысячу раз больше волновали сердце, нежели русские сказки и старинные сказания о князе Владимире?»³⁹.

Отсутствие органической связи с национальной культурой, германолюбие Рудина — причины его общественной несостоятельности, утверждает Тургенев. Отрывом от родных корней объясняет Тургенев и любовь Рудина к красивым словам. Незнание русской жизни, ее потребностей заставляет Рудина предаваться отвлеченному философствованию. Что бы ни говорил Рудин, какие прекрасные и благородные мысли ни высказывал, он всегда окажется «чужим дома». Ему суждено лишь «мыкаться по свету» (гл. XI).

Этот мотив — скитание Рудина по родной земле — получит дальнейшее развитие в эпилоге, рассказывающем о его встрече с Лежневым в гостинице губернского города. После пребывания в имении Ласунской Рудин, по собственным словам, «скитался не одним телом — душой скитался». «Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!». Он — «перекати-поле», «вечный жид», «бесприютный скиталец». Эти образы прекрасно определяют беспочвенность Рудиных. В странствованиях Рудина отсутствует какая бы то ни было цель. Чрезвычайно характерна в этом отношении заключительная сцена главы XII, которая, как мы предполагаем, была написана в Петербурге: Рудин дотащился, наконец, до почтовой станции; ему надо ехать дальше — в Пензу через ...ск, но лошадей нет, и смотритель предлагает ему отправиться в Тамбов через ...ов. «Рудин подумал. — Ну, пожалуй, — проговорил он, наконец: — велите закладывать лошадей. Мне все равно; поеду в Тамбов».

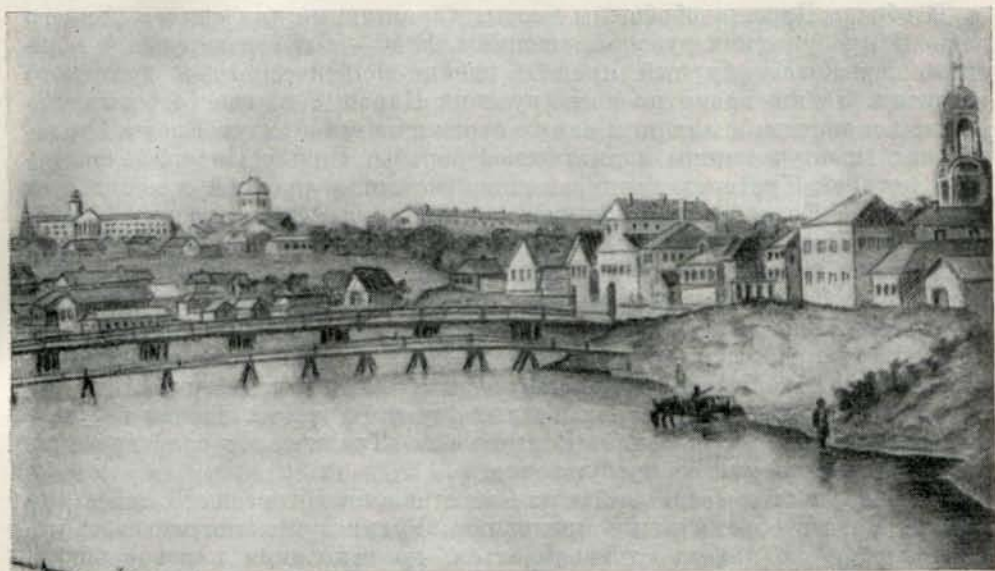
Итак, в Спасском, в процессе работы над романом никаких существенных сдвигов в замысле не произошло. Образ «лишнего человека» не

испытал особых превращений. У автора не было двойственности в оценке своего героя. Он относился к нему критически не только в начале романа, но сохранил эту точку зрения до конца, не смягчил ее и не реабилитировал Рудина. Реализуя свой предварительно составленный план, который был для него фабульным ориентиром, Тургенев иногда отступал от него, отступал с определенной целью — более экономно использовать материал, более четко расположить действующих лиц. Писатель свободно обращался с планом, изменял его, когда этого требовали задачи художественной кристаллизации замысла. В основе первой редакции, созданной в Спасском, лежала «порядочная мысль» (П II, 305), продиктованная задачами социально-политического момента, — обнаружить общественную несостоятельность «лишнего человека», изобразить его как просветителя, отвлеченная пропаганда которого не подкреплена делами.

В первой редакции было отчетливо показано влияние слова Рудина, и в дальнейшем этот мотив не подвергался каким-либо изменениям. Воздействие проповеди Рудина сказалось на Наталье и Басистове, и его отношения с ними в процессе последующих доработок оставались прежними. Вот почему уместно поставить вопрос о просветительстве Рудина именно сейчас, когда речь идет о первой редакции романа.

Хорошо известно, что в условиях николаевской реакции «слово» было революционным «делом». Литература, публицистика, критика были тогда действенным средством пропаганды и агитации против самодержавия и крепостничества. Но в середине 50-х годов в России начинает шириться революционное движение, учащаются выступления крестьян против помещиков. В этих условиях «слово» должно было получить иной характер. Уже недостаточно было разоблачать крепостное право, говорить о правах личности и народа, мечтать о светлом будущем, очертания которого еще туманны и неопределенны. Теперь появились новые деятели, разночинцы-демократы; у них ясная и осознанная цель — социалистическое общество; они — утописты, потому что не нашли и не могли найти в силу социально-экономической отсталости России правильных путей к его построению. Но их пропаганда стала иной, чем раньше, — более целеустремленной, более конкретной, лишенной абстрактного гуманизма. Они начинают проводить через рогатки и препоны цензуры идею крестьянской революции, а в начале 60-х годов станут искать путей практической, революционно-организационной работы.

И естественно, что «слово» «лишних людей», ранее будившее мысль, звавшее к борьбе с крепостничеством, теперь — в новых исторических условиях — звучало уже не по-боевому. В нем были звуки, еще волновавшие, в нем был энтузиазм, но содержание его казалось уже несколько неясным и неконкретным. Тургенев именно так охарактеризовал слово «лишних людей», вдохновенное и глубоко эмоциональное, пробуждающее веру в счастливое будущее. Рудин «говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно... но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам. Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определенительно и точно <...> Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация <...> каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердца, заставляя смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы развевались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди» (гл. III).



ОРЕЛ

Рисунок со старинной гравюры

Музей И. С. Тургенева, Орел

Однако сила воздействия этого блестящего и волнующего «слова» была уже не столь велика. Она ограничена прежде всего той аудиторией, где Рудин произносит свои речи. В «салоне» Ласунской они не могли иметь широкого отклика. В самой Ласунской они вызывали одно любопытство. В ее гостиной Рудин нечто вроде изысканного интеллектуального угощения или музыканта, приглашенного на торжественный вечер для развлечения гостей. Недаром в глазах m-lle Wopcourt, блюстительницы приличий и этикета в доме Ласунской, Рудин был «чем-то вроде виртуоза или артиста» (гл. V). Главный противник Рудина — Пигасов, возражения которого Рудину приходится постоянно парировать. Словесный поединок Рудина и Пигасова — интересное развлечение для присутствующих. Стычки, в которых всегда побеждает блестящий диалектик и златоуст Рудин, — своеобразная «игра ради игры»: мракобеса Пигасова никакими речами не переубедить, его «пронять мудрено». Александра Павловна способна лишь «ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина».

Но все же, «слово» Рудина упало и на хорошую почву. Оно отозвалось в Наталье и Басистове. Однако отклик этот не перешел в действие. Пробужденная словами Рудина, Наталья начинает стремиться к большому делу; она готова принести себя в жертву общему благу, «надломить упорный эгоизм своей личности», как учил ее Рудин. Ради большой цели она готова уйти из семьи, расстаться с материальным благополучием. Но через два года после драматического разрыва ее отношений с Рудиным она стала женой самого обыкновенного, заурядного человека — помещика Волинцева. По сути говоря, Наталья во многом повторяет жизненный путь первой тургеневской героини — Парашки. У обеих много душевных сил, но это внутреннее богатство остается мертвым капиталом: творческие их силы не развиваются, а гибнут, столкнувшись с жизненным укладом дворянского общества. Обоих ожидает пошлость поместного существования.

В образе Параши обобщены черты, характерные для самого раннего периода пробуждения русской женщины. В 40—50-х годах русская женщина переживает бурный процесс идейно-политического и духовного развития. За это время на место русских Параш с их еще бессознательными, непонятными для них самих стремлениями придут Елены Стаховы, активные участницы политической борьбы. Между Парашей, с портрета которой Тургенев начинает свою историю русской женщины, и героической Еленой из «Накануне» стоят Мария Александровна («Переписка») и Наталья. Сила их пробуждения значительно больше, чем у Параши, но им еще далеко до Елены. Увлеченная «словом» Рудина, Наталья готова разделить его «дело». Обманувшись в избраннике и поняв, что от его «слова до дела еще далеко», она нашла в себе силы преодолеть свое чувство. Волевая, с сильным характером, она категорически отказалась от брака со «светским львом» господином Корчагиным, но соединила свою судьбу с бесцветным, чуждым каких бы то ни было высоких идейных стремлений, Воынцевым. Трагическое разочарование в Рудине остановило ее пробуждение.

Неизвестно, что могло выйти из Басистова, благоговевшего перед Рудиним. По его собственному признанию, Рудин «умел потрясти», с места сдвигал, не давал останавливаться, до основания переворачивал, зажигал. Но о результатах этого духовного воздействия Тургенев ничего не говорит.

Со свойственной ему реалистической чуткостью к веяниям времени, ко всем сдвигам в общественной жизни, Тургенев охарактеризовал «слово» Рудина, слово «лишних людей» как теряющее свою действительную силу теперь — в период поднимавшейся революционной волны 60-х годов. Пройдет несколько лет, и Добролюбов во весь голос скажет, что «лишние люди», эти передовые деятели прошлого, были в свое время «вносителями новых идей в известный круг, просветителями, пропагандистами, — хотя для одной женской души, да пропагандистами, но теперь многое изменилось. Те понятия, которые они некогда распространяли, стали сейчас достоянием большинства и считаются «первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности <...> Ясно, что при таком положении дел, прежние сеятели добра *рудинского* закала теряют значительную долю своего прежнего кредита. Их уважают, как старых наставников; но редко кто, вошедши в свой разум, расположен выслушивать опять те уроки, которые с такой жадностью принимались прежде, в возрасте детства и первоначального развития. Нужно уже нечто другое, нужно идти дальше» ⁴⁰.

Тургенев с его умением, по словам Добролюбова, «угадывать новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание» ⁴¹, правильно отразил действительность, показав в период подъема разночинского освободительного движения бесперспективность *рудинского* слова, *рудинской* проповеди ⁴².

* * *

Итак, в первой редакции романа, созданной в Спасском, Тургенев резко критически изобразил в лице Рудина «лишних людей». Он отметил высокую культуру деятелей прошлого, их интеллектуальный блеск, философское мышление, их гуманизм, их волнующее и могучее слово, но при этом почти свел на нет значение этих свойств, показав слабость, малодушие «лишних людей», абстрактность их идей и стремлений. А самое главное, он подчеркнул незнание ими русской жизни, оторванность от народа, непонимание «потребностей действительной современной жизни», непонимание именно того, в чем прекрасно разбирался, по мнению Тургенева, Чернышевский.

Работая в Спасском над «Рудиным», Тургенев называл его «повестью», «большой повестью», «большой вещью» (см. П II, 279, 282, 286, 289, 295, 296, 302, 304, 309, 311, 317, 318, 319), тем самым сближая его со своими повестями о «лишнем человеке» начала 50-х годов. Действительно, первая редакция произведения представляет в жанровом отношении повесть. Она построена на одном эпизоде из жизни героя — его двухмесячном пребывании в имении Ласунской. Развязкой действия является внезапный, после объяснения с Натальей, отъезд Рудина. Последняя сцена с разговором о нем Липиной, Лежнева, Басистова, Пига-сова — эпилог, где намечена последующая судьба всех действующих лиц. В повести Рудин обрисован в отношениях с обитателями усадьбы Ласунской и ее гостями, а его общественная несостоятельность проявляется только в узкой области чувства. Автор судит героя моральным судом, какому он подвергал ранее Чулкатурина, Алексея Петровича, Вязовина и других. Жизненная история героя оказалась значительно более простой, чем в окончательной редакции, когда будут сделаны существенные добавления, которые и превратят повесть «Рудин» в роман. В первоначальной своей редакции «Рудин» и трактовкой героя, и композиционно несомненно близок к повести Панаева «Родственники», как это давно указал Н. Л. Бродский⁴³.

4. ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД РОМАНОМ

а. Кружок Покорского

С законченной в деревне редакцией повести Тургенев начинает знакомить своих друзей. Первым ее критиком была М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого. Она сделала какие-то замечания по поводу поведения Натальи в разговоре с матерью, когда Ласунская узнала о любви дочери к Рудину. Тургенев согласился с Толстой и выразил готовность переделывать сцену Натальи с матерью⁴⁴.

Дальнейшей доработке «Рудин», как уже говорилось выше, подвергся в Петербурге, куда Тургенев приехал в октябре 1855 г. и где он ввел в роман большие идейно значительные дополнения, внесшие кое-что новое в трактовку Рудина. Распространено мнение, что эти дополнения, смягчившие резкую оценку людей 30—40-х годов, сделаны были под влиянием друзей, в первую очередь Боткина. Дружинин, несомненно, хорошо знавший историю создания романа, даже упомянул об этом в статье о «Повестях и рассказах» Тургенева. «Она (повесть) была много раз прочитана в кругу людей, которых мнением дорожил автор; она исправлялась и переделывалась вплоть до того дня, когда обычно нашей спешной журнальной деятельности могли терпеть такую медленность»⁴⁵.

Переписка друзей Тургенева подтверждает сказанное Дружининым. Так, 24 ноября 1855 г. Некрасов сообщал Боткину, что, следуя его советам, Тургенев «славно обделывает» «Рудина»: «Ты дал ему лучшие страницы повести, натолкнув его на мысль развить студенческие отношения Лепицына (первоначальная фамилия Лежнева. — М. Г.) и Рудина. Прекрасные, сердечно-теплые страницы и — необходимейшие в повести!.. Теперь Тургенев работает за (над?) концом, который также должен выйти несравненно лучше. Словом, повесть будет и развита и закончена»⁴⁶.

Хотя вмешательство друзей, главным образом Боткина, в творческую работу Тургенева, несомненно, имело место, все же не следует придавать ему решающего значения, как это делают некоторые исследователи⁴⁷. Советы друзей пали на подготовленную почву.

По дороге в Петербург Тургенев заехал в Москву и попал на похороны Грановского. Преждевременная смерть большого ученого, друга Герцена, одного из лучших людей того же поколения, к которому принадлежал и изображенный в романе Рудин, глубоко потрясла Тургенева. «Давно ничего так на меня не действовало. Потерять этого человека в теперешнюю минуту — слишком горько — с этим, вероятно, согласятся все, к какому бы образу мыслей ни принадлежали. Самые похороны были каким-то событием — и трогательным — и возвышенным» (П II, 318).

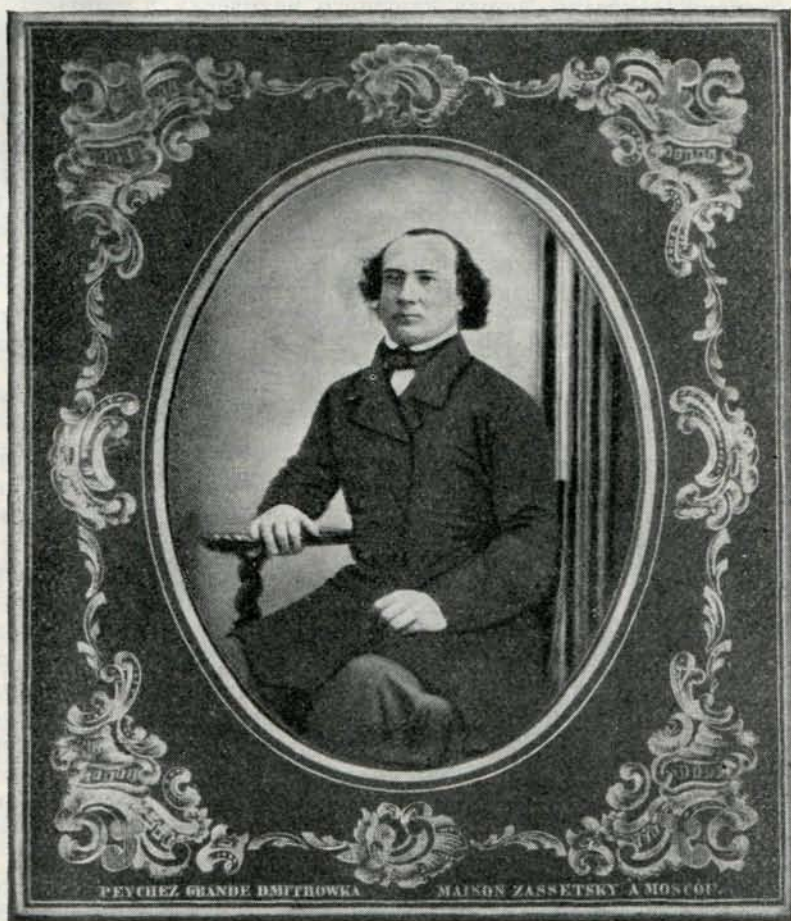
Не один Тургенев тяжело переживал смерть Грановского. Некрасов, узнав о его смерти, писал 8 октября 1855 г. Боткину: «Ни о ком я так не жалел после Б<елинского> <...> Нет! не живет у нас людям, которые всего нам нужнее. Некрасов жалеет о Грановском как об ученом, но еще более как о человеке — «он поощрял людей быть честными — вот его заслуга!»⁴⁸. Эту же мысль Некрасов развивает в «Заметках о журналах за октябрь 1855 г.»: «Это был один из самых даровитых и богатых знанием ученых, это был профессор, к которому любовь его слушателей доходила до восторженного благоговения, наконец, это был человек, в котором сила и чистота убеждений, возвышенное благородство мыслей, чудная прелесть богато одаренной и широко развитой личности соединились в прекрасное целое, благодатно полное, неотразимо обаятельное»⁴⁹.

В некрологе, написанном Тургеневым для «Современника», он, как и Некрасов, признает, что Грановский был гармонической, благородной личностью: «От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого». Доброе, сочувственное отношение к людям, доступность для учеников — замечательные его черты. «Проникнутый весь наукой, посвятив себя всего делу просвещения и образования, — он считал самого себя как бы общественным достоянием, как бы принадлежностью всякого, кто хотел образоваться и просветиться... К нему, как к роднику близ дороги, всякий подходил свободно и черпал живительную влагу» (ПСС VI, 373—374).

Мысли о Грановском Тургенева и Некрасова, вызванные смертью ученого-просветителя, столь нужного тогда России, были мыслями передовых, демократически настроенных людей. Через год, в 1856 г., их снова выскажет Чернышевский и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» и в статье «Сочинения Т. Н. Грановского». Для Чернышевского Грановский — «подвижник просвещения», сыгравший большую роль в пропаганде передовых научных знаний; «...он был авторитетом добра и истины». Чернышевский придает громадное значение нравственному влиянию Грановского, которого «невозможно было не полюбить всю душою каждому благородному человеку <...> Где был Грановский, там могло быть только одно чувство — чувство братства»⁵⁰.

Смерть Грановского, одного из лучших представителей рудинского поколения, могла явиться толчком для переработки романа, для смягчения критического отношения Тургенева к людям того времени.

Современники Тургенева усматривали в сцене импровизации Рудина в салоне Ласунской, дополненной после приезда Тургенева в Петербург, большое сходство между Грановским и Рудиным. «Рудин, стоящий вечером у окна и заключающий свою беседу, свою проповедь легендой о скандинавском царе, напоминает манеры, приемы и целый образ одного из любимейших людей нашего поколения», — писал Ап. Григорьев, имея в виду Грановского⁵¹. Одними и теми же словами характеризует Тургенев ораторский талант и Грановского, который «владел тайною



Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

Дагерротип. Москва, 1840-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

истинного красноречия» (ПСС VI, 373), и Рудина, который «владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия» (гл. III). Эти совпадающие детали не свидетельствуют о стремлении Тургенева приблизить своего героя к Грановскому. Отнюдь нет, они говорят о силе охвативших Тургенева воспоминаний о покойном друге, побудивших его, как мы думаем, пересмотреть свою оценку исторического значения передовых деятелей 30—40-х годов.

Тургенев не мог не отдавать себе отчета, что в романе он охарактеризовал их неполно и несколько односторонне. Он ответил на вопрос, какова роль «лишних людей» именно сейчас, в середине 50-х годов, когда после поражения в Крымской войне жизнь выдвинула новые задачи, которых им уже не разрешить. Но в 30—40-х годах были ведь не только Рудины, — а были Станкевич и Грановский, Герцен и Огарев, был Белинский. И Тургенев решил, что надо рассказать о молодых годах Рудина, когда формировалось его мировоззрение, и об его друзьях; вот почему появились, по словам Некрасова, «прекрасные, сердечно-теплые страницы», посвященные кружку Покорского.

Как хорошо известно, образ «лишнего человека» в творчестве Тургенева и вообще в русской литературе 30—40-х годов обобщал основные черты молодого поколения, пробужденного декабристами и ставшего их идейным наследником. Герцен писал о них: «Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства (...), а в них было наследие 14 декабря...» И дальше Герцен набрасывает основные вехи развития этого поколения: «Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, т. е. до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком. Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое»⁵².

Степень политического пробуждения была у членов разных кружков неодинаковой. Вряд ли можно отнести, как это делает Герцен, к наследникам первых русских революционеров славянофилов, которые при всем «чувстве отчуждения от официальной России» все же своим учением объективно поддерживали основы феодально-крепостнической системы. Не все из лучших людей 1830—1840-х годов испытывали «порывистое желание» вывести Россию из того состояния, в котором она находилась, не все, подобно Белинскому, Герцену и Огареву, были готовы к политической, революционной борьбе. Большую группу составляли просветители, оказывавшие, подобно Станкевичу и Грановскому, огромное воздействие на окружающих своею благородною личностью, высокими и искренними стремлениями к добру, истине, справедливости, прогрессу.

Внося в текст романа страницы, посвященные Покорскому и годам молодости Рудина, Тургенев вводит читателя в мир тех людей, которые являлись духовными наследниками декабристов.

В романе «Рудин» Тургенев без всякой иронии, с большим сочувствием, чем в «Гамлете Щигровского уезда», изображает кружки 30-х годов. В рассказе Лежнева о Покорском и его товарищах идет речь об исторически прогрессивной роли небольших, неофициальных, дружеских объединений, подобных кружкам Станкевича, Герцена и Огарева, «Литературному обществу 11-го нумера», организованному Белинским-студентом. Живая и вдохновенная мысль кипела здесь в поисках выхода из страшного мира, где царствовал «тиран в ботфортах», «рассвиреп лый деспот Зимнего дворца» — Николай I, где унижали достоинство человека, давили его личность, где большую часть населения считали не людьми, а рабочим скотом, где значение человека измерялось количеством принадлежащих ему крестьянских душ, высотой чина, близостью к царскому двору.

Изображая «славное время» кружка Покорского, Тургенев рассказывает о политическом пробуждении его членов — они говорили с восторгом, с бьющимся сердцем «о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии». Писатель отмечает и просветительское направление кружка: после собрания они расходились «тронутые, веселые, честные, трезвые». Громадное моральное влияние оказывал на своих товарищей Покорский. Его ум, ясный и обширный, «высокая, чистая душа», «поэзия и правда» личности привлекали к нему людей, и он «вдыхал в нас всех огонь и силу», — говорит о нем Лежнев (гл. VI).

Тургенев признавался, что реальным прототипом Покорского был Станкевич: «Когда я изображал Покорского (в „Рудине“), образ Станкевича носился передо мной — но всё это только бледный очерк» (ПСС VI, 394—

395). Смерть Грановского оживила память о его друзьях и, в первую очередь, о самом близком к нему человеке — Станкевиче, оказавшем на Грановского большое влияние и сыгравшем немалую роль в жизни самого Тургенева. Глубина нравственных стремлений этого человека заставляла оглянуться на себя, осознать «собственную недостойность и лживость», — писал Тургенев в 1856 г. в «Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче» (ПСС VI, 389). Тургенев отмечает здесь его глубокую честность, правдивость («всё, что он ни говорил <...> было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости» — стр. 392), активную любовь к людям («Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала» — стр. 394).

Однако, как всегда, исходя в создании художественного образа из впечатлений от реального лица ⁵³, Тургенев не копирует Станкевича, а отбирает лишь типические черты его социального характера. В образе Покорского обобщены лучшие свойства человека 30—40-х годов, характерные не только для Станкевича, но и для Грановского, Огарева, Белинского. Это те самые черты, которые были отмечены в высказываниях Тургенева, Некрасова, Чернышевского о Грановском. Они не менее характерны и для Огарева, который, по словам Герцена, был очень важным связующим звеном в их кружке. Огарев «был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокаивают их, они — *открытый стол*, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом» ⁵⁴.

В личности Покорского не только большая нравственная красота, характерная для людей типа Грановского и Станкевича, — в ней есть также черты, сближающие Покорского с Белинским. Любовь-деяние, характерная для Покорского, скрытая в нем сила борца, несомненно, напоминают Белинского, о котором Герцен писал: «...в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец» ⁵⁵. И у Покорского при физической слабости и болезненности, сильный, упорный характер, тогда как, по словам современников, Станкевич был скорее чисто созерцательной натурой, чем натурой борца. «Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб», — говорит о нем Лежнев, — но «не дался бы никому в обиду» (гл. VI). В сцене, когда члены кружка Покорского «вывели на свежую воду, уличили, пристыдили» семнадцатилетнего Лежнева, гадко солгавшего, и когда он расплакался, как дитя, вызвав слезами смех, его поддержал Покорский, более всех негодовавший ранее на него. Так мог поступить и Белинский. Сближение характера Покорского с характером Белинского подчеркивается и внешней стороной его жизни. Он очень беден, тогда как Станкевич был сыном богатого помещика. Таким бедняком, как Покорский, был именно Белинский, исключенный из университета и перебивавшийся уроками и случайной работой ⁵⁶.

Образ Покорского, не являясь портретом одного Станкевича, синтезирует лучшие черты самого передового человека 30—40-х годов, который в поисках деятельного добра вступит вскоре на путь революционной борьбы.

Рассматривая явления в исторической перспективе, Тургенев увидел в русской передовой дворянской интеллигенции тех лет два типа людей: одни из них — Рудины, другие — Покорские. Одни — это «лишние люди», с пробужденным сознанием, но с апатией воли, с неспособностью к активной деятельности, другие — это люди с крепнущей жаждой деятельности, борьбы; они, подобно Герцену и Огареву, чувствовали себя порой

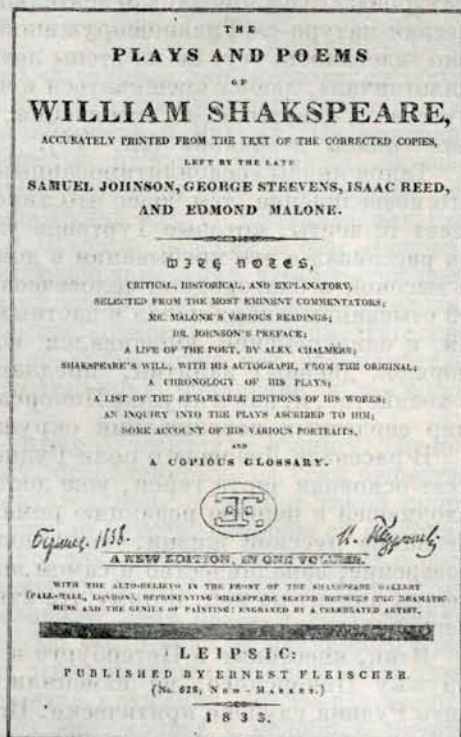
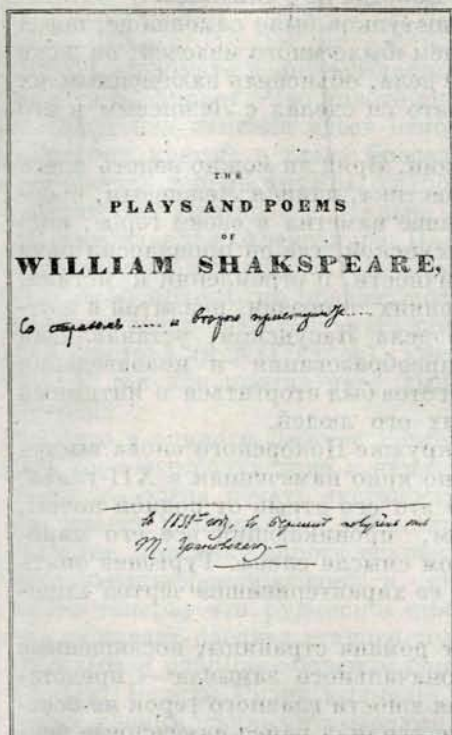
«лишними людьми», но, поняв требования народной жизни, стали активными борцами за народное освобождение. Давая историческую оценку передовым людям прошлого, Тургенев отметил в их деятельности много положительного: их высокий нравственный уровень, прогрессивную для той поры пропаганду ими философского идеализма, основные положения которого развивал в своих речах Рудин, хорошо усвоивший диалектику Гегеля и объяснявший общую связь явлений, закон разумной необходимости и идею прогресса: «Ничего не оставалось бессмысленным, случайным: во всем высказывалась разумная необходимость и красота, всё получало значение ясное и, в то же время, таинственное; каждое отдельное явление жизни звучало аккордом, и мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому», — характеризует Лежнев в беседе с Александрой Павловной речи Рудина (гл. VI).

В своей положительной оценке кружка Покорского Тургенев оказался весьма близким Чернышевскому, посвятившему в «Очерках гоголевского периода русской литературы» не одну сочувственную страницу кружку Станкевича. Чернышевский отмечает, что к нему примыкали «почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева», и характеризует кружок как «благороднейший и чистейший эпизод истории русской литературы». Участники этого кружка, подчеркивает Чернышевский, «были исполнены веры в свои благородные стремления, надежд на близость прекрасного будущего. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля, раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзию упоены были их сердца; слава готовила им венцы за благую весть, провозглашаемую от них людям, и увлекаемые силою энтузиазма, стремились они вперед». Как бы солидаризируясь с тургеневской характеристикой кружка Станкевича, Чернышевский прибавляет: «И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в „Рудине“ рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева». Чернышевский не игнорирует заблуждений членов кружка Станкевича, ослепленных диалектикой Гегеля, не замечавших противоречия между глубокими, плодотворными принципами, ими провозглашенными, и их ложными выводами, и, тем не менее, он признает деятельность этого кружка прогрессивной⁵⁷.

О «прекрасной, возвышенной», обаятельной личности Станкевича писал и Добролюбов: «Замечательный по своему светлому уму, живой восприимчивости и симпатичности натуры», Станкевич «имел действительно благотворное значение в кругу своих друзей»; кружок Станкевича должен быть дорог всем, «кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах»⁵⁸.

Признание революционными демократами большой просветительской роли Станкевича объясняется тем, что они видели в нем гармоническое слияние личного и общественного, чувства долга и нравственных стремлений, «потенциальную возможность оказаться в рядах борцов за передовые идеи своего времени»⁵⁹.

Добавив страницы о кружке Покорского, Тургенев дал исторически более правильную и более точную картину идейного роста «детей» декабристов. Если образ Покорского с его деятельным сочувствием людям, с его высокой принципиальностью и большим влиянием на товарищей, — хотя еще «бледный очерк», но все же «очерк» будущего борца, то в образе Рудина отражена более низкая ступень политического пробуждения людей 30—40-х годов, когда передовые идеи, облеченные в блестящую сло-



СБОРНИК ДРАМАТИЧЕСКИХ И СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕКСПИРА
(ЛЕЙПЦИГ, 1833), ПОДАРЕННЫЙ ТУРГЕНЕВУ Т. Н. ГРАНОВСКИМ

Титульный лист и шмуцтитул с надписями Тургенева: «Берлин. 1838. И. Тургенев» (титул) и «в 1838-м году Берли получен от Т. Грановского» (шмуцтитул). Выше рукой Грановского: «Со страхом ... и верою приступите...»

Музей И. С. Тургенева, Орел

весную форму, не претворялись в поступки, не становились общественно преобразующим делом. Вот почему в рассказе Лежнева так резко противопоставлен Покорский Рудину⁶⁰. Участие в кружке Покорского не внесло в характер тургеневского героя новых черт. Автор сохранил и в рассказе о молодости Рудина критическую точку зрения, отнюдь не отказавшись от своего первоначального замысла.

Рудин — бедняк в сравнении с Покорским; в нем «гораздо больше блеску и треску, больше фраз, и, пожалуй, больше энтузиазма»; «он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой», «холоден как лед, и знает это, и прикидывается пламенным», «разыгрывает роль», он «актер» и «кокетка», «деспот в душе, ленив, не очень сведущ»; «мысли его рождались не в его голове: он брал их у других», но «ум имел систематический, память огромную», «из прочитанного извлекал всё общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые, правильные нити мысли, открывал духовные перспективы». Своими речами он увлекал товарищей, но не внушал к себе любви; влияние его превращалось в иго, тогда как Покорскому «все отдавались сами собой»; «когда он расправлял свои крылья, — боже! куда не залетал он! в самую глубину и лазурь неба!». А для Рудина порой в известной мере характерна «жизни мышья беготня». Лежнев иронически называет его «политической

натурой»: «Его хлопотливая деятельность никогда не унималась... политическая натура-с». Главной пружиной его поступков было самолюбие; когда оно задевалось, «тут он на стены лез». В нем «было много мелочей; он даже сплетничал», любил вмешиваться в чужие дела, объяснять влюбленным их чувства и запутывал их отношения, как это он сделал с Лежневым и его «миленькой девочкой» (гл. VI).

Таков якобы «реабилитированный» Рудин. Вряд ли можно видеть здесь его возвеличение, тем более что характеристика, данная Лежневым, обобщает те черты, которые Тургенев уже ранее наметил в своем герое, когда рассказал о его пребывании в доме Ласунской, где он произносил речи о высокой и благородной человеческой личности, о стремлении к истине, об отыскании общих начал в частных явлениях, о поэзии, разлитой в жизни, и одновременно вмешивался во все дела Ласунской, устанавливал порядок дневных занятий, предлагая преобразования и нововведения в хозяйстве, и, как в кружке Покорского, готов был вторгаться в интимный мир сердечных переживаний окружавших его людей.

В рассказе Лежнева о роли Рудина в кружке Покорского снова выступает основная черта героя, уже достаточно ярко намеченная в XII главе, входившей в первую редакцию романа, — это его отрыв от родной почвы, незнание русской жизни, космополитизм, проникающий все его мировоззрение, западничество в самом широком смысле слова. Тургенев опять делает акцент на ней, потому что считает ее характернейшей чертой «лишнего человека».

Итак, внесенные в Петербурге в текст романа страницы, посвященные кружку Покорского, не изменили первоначального замысла — представить Рудина глубоко критически. История юности главного героя не осветила его новым светом, а уточнила и даже усилила ранее намеченные черты: Рудин, участник кружка Покорского, и Рудин, гость Ласунской, — один и тот же характер. Разница между обоими Рудинами только возрастная.

Однако если в описании кружка Покорского авторская оценка рудинского типа осталась прежней, то существенно изменилась характеристика передовых деятелей 30—40-х годов. Они теперь не предстают в романе как нечто единое и целое.

Без эпизода, посвященного кружку Покорского, Тургенев представил бы историческое значение лучших людей 30—40-х годов несколько узко и односторонне. Именно так он создавал образ «лишнего человека» в рассказах, предшествовавших роману. Малый повествовательный жанр, как его понимал Тургенев, позволял ему, отказавшись от широкой картины общественных отношений, углубиться во внутренний мир героя, передать его переживания и настроения, подвергнуть его беспощадному самоанализу и сделать собственным суровым судьей. Такими лирическими рассказами были «Дневник лишнего человека» и «Переписка». Новый жанр — жанр романа — требовал объективной общественно-политической оценки изображаемых явлений. История кружка Покорского внесла необходимые коррективы в приговор над людьми 30—40-х годов: Рудины — типичные «лишние люди»; они часто встречаются. Их индивидуальные разновидности многочисленны — среди них и уездные Гамлеты, и высоко образованные Алексей Петровичи, Ракитины, и люди среднего культурного уровня, как Чулкатурин. А рядом с ними возникает, формируется другой тип, новый тип деятеля — «гениального», «необыкновенного» Андрея Колосова, Беляева, за месяц своего пребывания в деревне внесшего смятение в дворянскую усадьбу, обитатели которой почувствовали дуновение в их жизни «свежего ветра». Таким же замечательным человеком является и Покорский, вместе с Колосовым и Беляевым предшественник «новых людей» 60-х годов.

6. Первый эпилог

В Петербурге Тургенев дописал весьма важный для композиции образа Рудина эпилог. Что нового внес он им в трактовку своего героя?

Тургенев изменил здесь отношение Лежнева к Рудину. Из критика, которому прежде в глаза бросались темные стороны товарища, Лежнев становится теперь другом, глубоко сочувствующим всем жизненным неудачам бесприютного скитальца. Раньше Рудин ему не нравился как сам он признавался Александре Павловне. Первый рассказ о нем Лежнева вызывает у Александры Павловны негодующее замечание, что все сообщенное им — правда, но правда, похожая на клевету, — в таком непривлекательном свете представлен Рудин. В беседе Лежнева, Липиной, Пигасова и Басистова (в XII главе), как указано выше, тоже нет реабилитации героя, так как против него выдвинуто серьезное обвинение в космополитизме.

Зато в эпилоге Лежнев совсем по-иному относится к Рудину. Он полон горячего сочувствия к нему, седому, сгорбленному, на всем существе которого легла печать «усталости окончательной, тайной и тихой скорби, далеко различной от той полупритворной грусти, которою он щеголял бывало». Лежневу дорога искренность Рудина, с какою он говорит о своей жизненной непригодности, склонности к фразе. Он даже готов признать теперь, что рудинское «доброе слово — тоже дело», и восторженно выслушивает рассказ старого товарища об его отказе от насущного куска хлеба и разрыве с богатым баринном, перед которым он не захотел унижаться. Бедняк Рудин вызывает у Лежнева уважение. Он всегда «жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна ни была». Равнодушие Рудина к материальным благам, пробуждающее в Лежневе светлое воспоминание о Покорском («он также умел остаться нищим»), — типичная черта идеалиста 30—40-х годов, у которого, нет, по словам Герцена, «ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность — и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов»⁶¹.

Центр внимания в этой заключительной главе перенесен на вопрос, почему Рудин оказался в общественном смысле несостоятельным. Ответ на него необходим, потому что иначе не понять исторического значения «лишних людей». Как история кружка Покорского, так и эпилог нужны автору, чтобы осветить место «лишних людей» в жизни.

Раньше утверждалось, что Рудин — человек без почвы, человек фразы, а не дела, упоенный своими красивыми словами, малодушный и слабый волею, неспособный победить лень. «Первое препятствие — и я весь рассыпался», — пишет он Наталье о себе. Теперь же герой предстает ищущим дела, пытающимся приложить к чему-либо свои силы, но наталкивающимся на непреодолимые преграды.

Тургенев объясняет, что Рудин — жертва той общественно-политической системы, при которой хозяевами жизни являются Ласунские — барепеданты, «вылепленные из степной муки с примесью немецкой патоки». Не давая широкой картины социальных отношений, писатель только намекает, что все благо начинания Рудина разбивались о препятствия, которые не позволили ему стать полезным деятелем. Большим преобразованиям в сельском хозяйстве, задуманным тургеневским героем, помешал «господин помещик». Смелый проект сделать судоходной реку и обогатить край не осуществился, потому что у Рудина и Курбеева не было денег и никто не захотел их поддержать в замечательном предприятии. А преподавание в гимназии закончилось высылкой в деревню.

Такова «судьба» Рудина. «Что мешает мне жить и действовать, как другие?.. — спрашивает он. — Я только об этом теперь и мечтаю. Но едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нею долой... Я стал бояться ее — моей судьбы...» Подобно своим предшественникам, героям других произведений Тургенева, начиная со Стёно, Рудин считает себя жертвой судьбы. Но как изменилась теперь, сравнительно с юношеской поэмой, трактовка «судьбы»! Вместо романтического «рока» речь идет о конкретных социальных условиях, мешающих Рудину претворять в дела свои большие и полезные стремления.

На Рудине лежит печать «общего несчастья», которое блестяще охарактеризовал Герцен, много размышлявший о причинах социальной драмы «лишних людей». Они «сорвались с общего пути — тяжелого и безобразного — и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом поиске останавливались. В этой пожертвованной шеренге черты очень розны: не все похожи на Онегина или на Печорина, не все — лишние и праздные люди, а есть люди трудившиеся и ни в чем не успевшие, — люди неудавшиеся <...> В них ничего нет стадного, рядского, чекан розный, одна общая связь связует их или, лучше, одно *общее несчастье*; вглядываясь в темно-серый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же, бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны... словом, петербургская Россия. Ею они несчастны, и нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут: земли нет под ногами, хотят кричать — языка нет... да нет и уха, которое бы слышало» ⁶².

Рудин тоже «сорвался с общего пути», искал своей дороги, но не находил, трудился и ни в чем не успевал. Тургенев реабилитирует своего героя, объясняя, что феодально-крепостническая система не давала ему возможности действовать. Его делом могло быть лишь «доброе слово». Это перенесение вины с Рудина на социальные условия было продиктовано, несомненно, не Боткиным, а реальной исторической обстановкой. Осенью 1855 г., после позорного завершения Крымской кампании, когда Тургенев переделывал свой роман, он, как указывалось выше, отдавал себе отчет в том, что причиной поражения была несостоятельность социально-политической системы России. Это сознание и побудило его заострить в эпилоге внимание на социальных факторах, препятствовавших развитию страны, убивавших творческую энергию, превращавших благородных энтузиастов Рудиных — в «лишних людей». До этого вся ответственность за поступки Рудина возлагалась на него самого, и только в эпилоге указаны те социальные причины, под воздействием которых неизбежно должна была сформироваться в нем «натура» «лишнего человека». Сжатое рамками эпилога, это объяснение, тем не менее, с полной силой образительности освещает «судьбу» и характер героя.

Однако, несмотря на стремление оправдать в эпилоге Рудина ссылкой на общественно-политические причины, превратившие его в «лишнего человека», Тургенев выносит ему все же окончательный и достаточно суровый приговор — справедливый приговор истории.

Каков же он?

Хотя в Рудиных горит «огонь любви к истине», хотя в них «сидит какой-то червь, который грызет <...> и гложет, и не даст <...> успокоиться до конца», они все же рано или поздно успокаиваются и смиряются. Размышляя над тем, почему его последняя попытка найти дело кончилась ссылкой в деревню, Рудин недоумевает. Ему непонятно, как могли заподозрить его намерения. Уроки его — всего-навсего блестящие импровизации, пробуждавшие в трех-четырех мальчиках «желание добра»

и непонятные остальным ученикам, а сам он готов приспособиться к обстоятельствам. «Точно, я тогда (в молодости. — М. Г.) ясно не сознавал, чего я хотел, — говорит он, — я упивался словами и верил в призраки, но теперь, клянусь тебе, я могу громко, передо всеми высказать все, чего я желаю. Мне решительно скрывать нечего: я вполне, и в самой сущности слова, человек благонамеренный; я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу».

В передовом кружке Покорского, членом которого был некогда Рудин, мечтали об осуществлении совсем не этой минимальной программы, а искали большого дела, считали себя «призванными к чему-то великому». Как известно, в тех кружках, деятельность которых отразилась в рассказе о кружке Покорского, созревали уже революционные идеи, обозначенные Рудиным «верой в призраки». В них формировались будущие революционеры, которые и были подлинными наследниками декабристов. «Лишний человек» Рудин пошел иным путем — путем примирения с действительностью, приспособления к социально-политической обстановке. Это путь многих из тех, кто в 30—40-х годах был участником кружка Герцена и Огарева, кружка Станкевича — путь Боткина, Кавелина, Каткова и др.

В эпилоге Тургенев наметил ту тенденцию, которая выступит вскоре как основная в оценке «лишних людей» Чернышевским и Добролюбовым: в условиях нового подъема революционного движения «лишние люди», передовые деятели прошлого, становятся благонамеренными либералами. И еще существенно важно, что Тургенев ясно сказал о «лишних людях»: у них нет будущего; жизнь идет вперед, и им нет в ней места. Круг людей старого поколения редет; «новые поколения идут мимо нас, к не нашим целям», — замечает Лежнев. Жизнь обошла их. «Инвалиду мысли» Рудину остается один выход — «укрыться» в «гнезде» — в лежневской усадьбе и, подобно его хозяину, «сидеть сиднем да оставаться зрителем, сложив руки».

Таков жизненный финал Рудина, конец «лишнего человека», в котором в зачаточной форме проступают те черты, которые обобщили позднее Щедрин в «Талантливых натурах» и Гончаров в «Обломове».

В. Рудин и Лежнев

В научно-критической литературе, посвященной «Рудину», не раз проскальзывала мысль, что Лежнев — «голос» автора. Защитники этой точки зрения утверждают: Тургенев поставил Лежнева над Рудиным, сделав его критиком и судьей Рудина. Лежнев для Тургенева — положительное лицо, в котором он воплощает свои представления об общественном деятеле 50-х годов, либерале и практике, нашедшем полезное и нужное дело в устройстве своих поместий. У Лежнева взгляды со славянофильским оттенком; они противопоставлены западничеству Рудина. Образ Лежнева свидетельствует о примирении Тургенева со славянофилами.

Едва ли не первый поднял вопрос о славянофильстве Лежнева А. И. Незеленов. В согласии со своими охранительными, реакционно-националистическими взглядами, он рассматривал Лежнева как «человека почвы, человека народа, практического деятеля», как человека, в словах которого «слышатся славянофильские воззрения». По его мнению, Тургенев с большим сочувствием относится к Лежневу⁶³.

С некоторыми оговорками о славянофильстве Лежнева писал Д. Н. Овсянико-Куликовский. Он полагал, что проповедь народности у Лежнева — результат сближения Тургенева с семьей Аксаковых. Сам Тур-

гениев «не усвоил (и не мог усвоить) доктрины славянофильства, не мог стать на точку зрения этой партии, но он как вдумчивый и чуткий художник должен был заинтересоваться самым фактом появления людей, проводивших принцип народности, идеалистов, влюбленных (если можно так выразиться) в русскую национальность и стремившихся сознательно обосновать на ее началах и поэзию, и всякое творчество, и общественные, и даже политические идеалы». Однако Овсяннико-Куликовский не считал, «что в фигуре Лежнева Тургенев хотел изобразить славянофильское умонастроение 40-х годов», потому что тогда «националистические» идеи, подобные идеям Лежнева, развивали не только славянофилы, но и многие другие, в частности Белинский⁶⁴. В положениях Овсяннико-Куликовского не сходятся концы с концами. Реакционные, действительно националистические идеи славянофилов он приписывает Белинскому, не усматривая таким образом различий в понимании народности революционными демократами и защитниками идеи обновления феодально-монархического государства — славянофилами. Такое смешение понятий, такой антиисторизм и характерный для буржуазной науки объективизм не позволили Овсяннико-Куликовскому дать ясный ответ на поставленный им вопрос: типические черты какого именно общественного деятеля обобщены в образе Лежнева?

Полемизируя с Овсяннико-Куликовским и заметив, что в кружке Станкевича наметились две группы — одна, тяготеющая к славянофилам, другая — к Белинскому и Бакунину, В. В. Данилов прямо относил Лежнева к славянофильской группе: «Лежнева Тургенев, очевидно, желал изобразить примыкающим к первому течению»⁶⁵.

Эта точка зрения не выдерживает критики: во-первых, потому, что добрые отношения Тургенева с семьей Аксаковых, в которой он лучше всего относился к С. Т. Аксакову, самому далекому из всей семьи от славянофильской доктрины, не уничтожили его существенных разногласий с славянофилами, особенно с К. С. Аксаковым, как неоднократно подчеркивал это сам Тургенев; во-вторых, потому, что в критике Лежневым рудинского космополитизма слышатся отзвуки отнюдь не славянофильских идей, а близких Тургеневу патриотических идей Белинского, который в 40-х годах вел непримиримую борьбу и с славянофилами и с западниками. Выдвинув против Рудина серьезное и справедливое обвинение в незнании России, в полном их отрыве от основ народной жизни, Тургенев использовал, как мы видели, аргументацию Белинского. Только в этом единственном смысле можно считать Лежнева рупором автора.

В советском литературоведении оказалась весьма устойчивой несколько иная точка зрения на Лежнева. В наиболее крайней формулировке она была высказана вульгарными социологами, принижавшими всячески прогрессивное значение Тургенева. Они-то и провозгласили Лежнева *alter ego* автора. Так, С. А. Малахов заявлял, что идеалисту Рудину Тургенев противопоставляет пользующегося его исключительными симпатиями «рядового дворянина Лежнева, эксплуататора, сбросившего с себя маску идеалистической философии, помещика, защищающего позиции землевладельческого класса»⁶⁶.

Нет нужды сейчас вскрывать порочность подобного взгляда на Тургенева: советское тургеневедение дало должный отпор этой тенденции превратить Тургенева в писателя — идеолога поместного класса. Однако и позднее, в сглаженной форме, приглушенно, не раз высказывалась точка зрения на Лежнева как на проводника авторских либерально-реформистских взглядов. Не так давно Е. И. Кийко усмотрела в романе подобную тенденцию: «Обрами Лежнева и Волынцева, „практиков“ нового типа, Тургенев, вопреки революционерам-демократам, пытался доказать, что

путь постепенных преобразований — единственно возможный путь дальнейшего прогрессивного развития России»⁶⁷.

С этой точкой зрения тоже нельзя согласиться, прежде всего потому, что Лежнев не является антиподом Рудина. Для Тургенева и он в какой-то мере «лишний человек». У обоих одинаковое прошлое: участие в кружке Покорского, увлечение в молодости гегелевской философией, немецким романтизмом, искание общего блага, свободы, справедливости. В зрелом возрасте их дороги разошлись: Лежнев — богатый помещик, занятый сельским хозяйством и устройством своей семейной жизни, достигший всего, к чему стремился, тогда как Рудин не обеспечен, не устроен, не нашел дела, ни на чем не остановился. На склоне лет Лежнев и Рудин снова оказались «близки друг другу». Благополучный во всех отношениях Лежнев с уважением относится к бедняку Рудину, «голодному, без пристанища». Практичный Лежнев, занятый только своими делами, преклоняется теперь перед непрактичным Рудиным, равнодушным к материальным благам. Как ни различно сложился их жизненный и бытовой уклад, они ведь люди одного поколения, люди сходных воззрений и чувств. Раньше, когда Лежнев судил Рудина, он исходил из тех высоких нравственных требований, которые были усвоены им в кружке Покорского. Он мерил его тогда меркою Покорского и видел в нем «мелочи», «дрязги», любовь к фразе, позерство. Но теперь он ставит Рудина выше себя, потому что Рудин «должен был выйти на поле, засучить рукава, трудиться, работать», а он, Лежнев, благодаря состоянию и другим счастливым обстоятельствам жил только для себя, устранившись от общего дела. Лежнев по-иному, но тоже, как и Рудин, «лишний человек», ничего не сделавший, кроме устройства своей личной жизни. Они оба — «последние могикане»; им осталось лишь «крепко держаться друг за друга», так как они не являются строителями жизни, которая развивается без их участия и отбрасывает их как нечто ненужное и бесполезное.

В эпилоге происходит суд не только над Рудиным, но и над Лежневым.

Лежнев у Тургенева не положительный герой. Нигде и никогда Тургенев не высказывался в защиту узкого практицизма, поместного деличества. При известном благородстве своих мыслей, при хорошей основе, заложенной в Лежневе кружком Покорского, он — эгоист, живущий лишь для себя⁶⁸. Жизнь не опошшила его до конца, не сделала «зверем», как иных его товарищей. Однако «славное время» кружка Покорского, время молодых порывов, устремлений к высокому и великому живет лишь в его памяти. Бескрылый, умеренный, холодный, боящийся огня чувств. напоминающий своим видом «большой мучной мешок», — таким предстает перед читателями Лежнев в первой главе. «Большой мучной мешок» — сравнение не случайное. Это — ключ к образу Лежнева. Оно характеризует не только неуклюжую, бесцветную внешность Лежнева, портрет которого выдержан в серых тонах (на нем «старое пальто из серой коломанки»; у него лицо «широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазами и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды»), но и его помещичьи, хозяйственные интересы, серые и бесцветные, глубоко эгоистические. Сравнение Лежнева с «большим мучным мешком» стилистически входит в гоголевскую традицию, однако оно не имеет, как у Гоголя, сатирической заостренности.

Тургенев не поднимает Лежнева над Рудиным, не считает его положительным героем; автор делает его судьбою Рудина лишь потому, что он хорошо знал лучших людей их общей молодости, с которыми и сравнивает Рудина. Вот почему Тургенев предоставляет Лежневу право осудить космополитизм Рудина словами Белинского. Рудин ниже Покорского, но выше Лежнева, так как сохранил энтузиазм и идейное горение молодости, не превратился в эгоиста-практика.

* * *

Подводя итоги, следует признать: в результате сложной творческой работы над романом Тургенев дал исторически правильную оценку «лишних людей». Он воссоздал их образ со всеми свойственными им противоречиями: жажда дела и неумение его осуществлять; благородное «слово», не поддержанное поступками, а потому ставшее пустой фразой; высокие стремления и мелкий эгоизм; энтузиазм и холодная «натура». Однако при всех своих недостатках это — люди, не мирящиеся с «царством мглы и насилия», просветители, владеющие «тайной красноречия» и умеющие будить в молодежи мысль, стремление к делу. В этом их важное общественное значение.

Тургенев подошел к передовым дворянским интеллигентам 30—40-х годов не только с исторической точки зрения, не только раскрыл их прогрессивное значение в прошлом, но поставил также вопрос об их роли в современной общественной жизни. Ответом на этот вопрос было признание ненужности сейчас, в середине 50-х годов, «лишних людей», бесполезности их отвлеченной и малодейственной проповеди. Развивающаяся жизнь отбрасывает их, потому что они устали, изнемогли, жаждут успокоения и отдыха, потому что в них, врагах обломовщины, начали уже обрисовываться обломовские черты. Ничего не вышло и из Лежневых, из тех «лишних людей», которые, по словам М. Горького, «носят в себе зачатки двух начал — деятельного и пассивного», которые как будто бы нашли «дело». Но их «дело» заключено в узкие личные рамки, их практицизм глубоко эгоистичен. Они не превосходят Рудиных; они ниже их. «Мечтатель Рудин по тем временам, — подчеркивал М. Горький, — был человеком более полезным, чем практик, деятель»⁶⁹. Однако Тургенев увидел в эпоху николаевской реакции и людей с большей силой политической пробужденности, чем Рудины. Это Покорские. Их чистая и светлая личность оказывала благотворное общественное влияние; в них формировался характер будущих революционных борцов.

Совместив две точки зрения на «лишних людей», историческую и современную; сопоставив три разновидности этого рода людей (Рудин, Покорский, Лежнев) и вскрыв общественные возможности каждой, Тургенев превратил повесть, написанную в Спасском, в роман, где он рассматривает явления в исторической перспективе, судит «лишних людей» не моральным судом, как он делал это в первой редакции, а с точки зрения их социально-политической значимости. Сделанные в конце 1855 г. дополнения резко изменили композицию «Рудина». Ее стержнем стала биография героя, изображенного в разные периоды жизни (в юности, зрелости, на склоне лет). Биографический структурный принцип, легший в основу второй редакции, позволил автору позднее, в 1860 г., дополнить роман рассказом о смерти героя. Этот эпизод естественно включался в повествование, не нарушая его цельности.

Изменилась и композиция образа Рудина. В повести, созданной в Спасском, характер героя статичен: он дан лишь в разных ракурсах — «не только en face, но и en profile», в естественных для него положениях, как того требовал Тургенев⁷⁰. Эти разные ракурсы устанавливались отношением к Рудину других лиц и теми ситуациями, в которых лучше всего проявлялись его характер (споры с Пигасовым, беседы с Натальей, хозяйственные советы Ласунской, вмешательство в личную жизнь Волицева и т. п.). Во второй редакции характер героя дан в развитии. Познакомив читателей с ним и с его поведением в усадьбе Ласунской, автор рассказывает устами Лежнева, каким был Рудин в студенческие годы. Этот ретроспективный взгляд нужен Тургеневу, чтобы объяснить, как складывался и менялся характер героя, какие черты были свойственны

ему в юности, как развились они и как естественно привели к тому, что его «слово» не стало «делом». Характер Рудина «не вытянут в струнку» ⁷¹. Тургенев считал такое однолинейное изображение персонажа существенным художественным недостатком. Характер Рудина меняется не только с возрастом, но и под воздействием общественных условий. Сложнее становится отношение к Рудину Лежнев: в молодости он преклоняется перед Рудиным, хотя его вмешательство в юношеский роман Лежнева оставляет горький след. В имении Ласунской Лежнев недоброжелателен к Рудину, а в первом эпилоге не только примиряется с ним, но признает его превосходство над собой и его благотворное для жизни значение. Отношение Лежнева к Рудину диалектично, как диалектично и развитие характера героя.

На втором этапе работы над «Рудиным» Тургенев нашел свой жанр — жанр социально-политического романа, развивая который он будет вплоть до «Нови». Автор понял, что внесенные им дополнения превратили «Рудина» в роман: в «Сочинениях», изданных Н. А. Основским в 1860 г., он поместил его в третий том вместе с «Дворянским гнездом» и «Накануне» ⁷².

5. ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД РОМАНОМ

а. Второй эпилог

Казалось бы, в «Рудине» Тургенев вполне удачно разрешил задачу, поставленную перед ним общественно-политической жизнью. Сложная творческая работа над романом была им успешно закончена.

А между тем Тургенев снова возвращается к нему через пять лет. В 1860 г. он добавляет вторую часть эпилога с картиной смерти Рудина на баррикадах в Париже в 1848 г. Хотя этот эпизод весьма краток, но он важен в идейном отношении, так как освещает образ «лишнего человека» новым и неожиданным светом.

Ранее Рудин выступал в романе как просветитель, пробуждающий вдохновенным словом сознание молодого поколения, как человек, живущий высокими идеями и пренебрегающий материальными благами, но вместе с тем как деятель, общественно несостоятельный, не способный найти настоящее дело, малодушный. Теперь же, во второй части эпилога, он представлен как герой, гибнущий за революционное дело.

Что побудило Тургенева революционизировать Рудина, ранее никак не связанного с революционной борьбой? Какие причины заставили автора окружить героическим ореолом того Рудина, которого он в ранее написанной части эпилога показал усталым, разбитым, опустошенным? Ответ на этот вопрос можно дать, лишь исходя из тех конкретных исторических условий, в которых был добавлен эпилог.

Как известно, революционная ситуация 1859—1861 гг. повлекла за собой резкое размежевание общественных сил на два лагеря — демократический и либерально-реакционный. Тургенев ушел из «Современника», пропагандировавшего идею крестьянской революции, разорвал с ним свои тринадцатилетние отношения и выступил с активной поддержкой крестьянской реформы «сверху». В то самое время, когда происходил разрыв Тургенева с революционной демократией ⁷³, он добавляет новый эпилог с описанием героической смерти Рудина. На первый взгляд, такое превращение «лишнего человека» в революционного борца должно показаться неожиданным и противоречащим первоначальному авторскому замыслу.

Однако это противоречие может и должно быть снято, если заключительную сцену романа рассматривать не в связи с творчеством Тургенева

середины 50-х годов, как это делается обычно, а в связи с литературной деятельностью писателя начала 60-х годов, с его «блестящей», по признанию Добролюбова ⁷⁴, статьей «Гамлет и Дон-Кихот», с проблемами, поднятыми в «Накануне», с полемикой о «лишних людях», развернувшейся в «Современнике» и в «Колоколе». В эту полемику включился и Тургенев, внеся новую героическую страницу в биографию своего героя.

б. Образ Рудина и спор об идейном наследии 30—40-х годов в середине 1850-х годов

Вопрос о «лишних людях» не был чисто литературным, а поднимал очень важную историко-культурную проблему — об идейном наследии 30—40-х годов и об общественной роли «отцов» — передовых людей того времени.

Этот вопрос решался революционно-демократическими критиками не всегда одинаково, а в зависимости от конкретных исторических условий и политических требований времени. Он возник в 1856 г. в связи с выходом в свет романа «Рудин», а затем «Повестей и рассказов» Тургенева. Спор о «лишних людях» протекал уже тогда в достаточно острой форме и был направлен главным образом против тех, кто недооценивал прогрессивную роль передовых людей прошлого.

В «Современнике» «Рудин» был встречен весьма сочувственно. В «Заметках о журналах за февраль 1856 года» Некрасов дал развернутый отзыв о романе ⁷⁵. Хотя в «Рудине» имеются художественные недостатки, замечает он, тем не менее, этот роман Тургенева «должен быть поставлен, по глубине и живости содержания, им охватываемого, по силе и по самому характеру впечатления, им производимого, очень высоко». Главное в этом замечательном, по мнению Некрасова, романе — его идея: «изобразить тип некоторых людей, стоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны».

Некрасова волнует вопрос, в какой мере автор дал исторически правильную оценку людей рудинского типа. Он полагает, что Тургенев удачно вскрыл отрицательные черты Рудиных, их жизненную неприспособленность, их отвлеченное, не связанное с реальными запросами общественной практики, мышление. «Они, вообще говоря, — продолжает Некрасов, — оказывались несостоятельны при практическом приложении своих идей к делу — отчасти потому, что еще недостаточно приготовлена была почва к полному осуществлению их идей, отчасти потому, что, развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они действительно жили более всего головою; перевес головы был иногда так велик, что нарушал гармонию в их деятельности, хотя нельзя сказать, чтобы у них сухо было сердце и холодна кровь. Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и полно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных».

Некрасов объясняет этот недостаток стремлением Тургенева преодолеть симпатию к своему герою, а также боязнью идеализации, побудившей его отнестись к Рудину скептически. Но все же, по мнению Некрасова, образ Рудина имеет большое значение: «...характер Рудина действительно не столь отчетливо представлен, как многие другие характеры в той же повести (<...> но тем не менее он живой является нам, и появление этой личности, могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих

недостатках, производит на читателя впечатление, чрезвычайно сильное и плодотворное, какого очень давно уже не производила ни одна русская повесть» ⁷⁶.

О том, какие именно из положительных сторон рудинского типа опустил Тургенев, Некрасов не говорит, но на этот вопрос в известной мере помогает ответить его поэма «Саша», напечатанная в первой книжке «Современника» 1856 г., рядом с первой частью романа, и посвященная Тургеневу. Некрасов дает в ней достаточно резкую оценку Агариним — фразёрам, ищущим исполнского дела, но отворачивающимся от «муравьиной работы людей», не умеющим «любить глубоко», не способным «дело веков поправлять», потому что в них «не воспитано чувство свободы» и не подготовлены они к борьбе, хотя им доступно «все, что высоко, разумно, свободно». И, тем не менее, Некрасов признает за «лишним человеком» общественное значение, ибо в нем живет вера в то, что «солнышко правды взойдет над землей» и не всегда будет «беден, несчастлив и зол человек», а главное — «сеет он все-таки доброе семя», пробуждая скрытые силы в молодежи и ее сознание. При остром разоблачении никчемности Агарина, его «обломовщины» («Благо наследье богатых отцов освободило от малых трудов»), либерального фразёрства, здесь четко и ясно сказано о прогрессивном значении «лишних людей» ⁷⁷. Недаром поэма восхитила Боткина. «„Саша“ твоя — здесь всем очень понравилась, даже больше, чем понравилась: об ней отзываются с восторгом», — писал он Некрасову ⁷⁸.

Если исходить из некрасовской характеристики Агарина, можно с уверенностью сказать, что Некрасову представлялась в романе Тургенева недостаточно освещенной просветительская деятельность Рудина, не-полно изображенной преемственность между «словом» Рудина и «делом» современного молодого поколения. Таким образом, в трактовке Некрасова передовые люди недавнего прошлого при всех своих недостатках являются предшественниками подлинных борцов за народное дело. Отцы и дети неразрывно связаны между собой, — так решает Некрасов вопрос о наследстве 30—40-х годов.

Мнение Некрасова о «Рудине» интересно еще и тем, что оно выражает не только его личную точку зрения, но и взгляды ведущих сотрудников «Современника». Об этом прямо говорится в первом его отклике на «Рудина»: «...повесть г. Тургенева и повесть графа Толстого <Севастополь в августе 1855 г.>. — М. Г.» мы почитаем самыми живыми литературными явлениями настоящего времени» ⁷⁹. Надо напомнить, что «Заметки о журналах» с этим отзывом Некрасова о «Рудине» были составлены тремя авторами — Некрасовым, Боткиным и Чернышевским ⁸⁰, каждый написал здесь свой раздел, однако все они выступали как единый коллектив, как «мы».

Некрасова поддержал Чернышевский, встретивший «Рудина» с полным одобрением. Именно сейчас он хочет написать статью, посвященную не только роману, но и всей деятельности его автора. Об этом свидетельствует незавершенная статья «Разговор отчасти литературного, а более нелитературного содержания». По признанию Чернышевского, он взялся за написание этой статьи, чтобы показать «какое огромное значение в русской литературе имеет г. Тургенев, по своему влиянию на публику, да и на развитие самой литературы». «Не бойтесь преклониться перед благородным писателем, которому так много обязаны мы все», — восклицает Чернышевский. «Из действующих ныне писателей нет никого, чьи заслуги перед публикою равнялись бы заслугам г. Тургенева» ⁸¹.

Эту высокую оценку Тургенева-писателя подтвердила, по мнению Чернышевского, новая «прекрасная повесть» — «Рудин», о которой он и высказывает свое мнение в «Заметках о журналах. Январь 1857 г.» ⁸² в связи с первой статьей либерального критика С. С. Дудышкина «Повести и рассказы И. С. Тургенева» ⁸³. Оценка Дудышкиным Тургенева на-



АДРЕС ТУРГЕНЕВУ ОТ РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННОИКА» В СВЯЗИ С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЖУРНАЛЕ, 1857

Акварель Д. В. Григоровича
Музей И. С. Тургенева, Орел

Адрес по неустановленным причинам не был вручен Тургеневу

столько возмутила Чернышевского, что он поспешил ответить на первую часть статьи, не ожидая ее продолжения.

Дудышкин стремился дискредитировать Тургенева-реалиста. По его мнению, с самого начала своей двенадцатилетней литературной деятельности Тургенев занимался разработкой только одной мысли, воплощая ее в образе «лишнего человека» и повторяя при этом Лермонтова. Причем «лишний человек» для него — идеал, всегда находящийся в противоречии с обществом, а эта главная мысль писателя представляется

критику неудовлетворительной, так как идеал имеет ценность только в том случае, если гармонирует с жизнью общества.

Мысль о слиянии идеала с жизнью общества, которую следовало положить в основу характера Рудина, чтобы сделать его истинным, была высказана не одним Дудышкиным, а и другими либеральными критиками, например Дружининым. Дав в целом хвалебную оценку роману, он, тем не менее, считал изображение главного героя неполным. Как высоко просвещенный человек, Рудин должен стремиться к воплощению в жизнь своих идеалов, а это возможно лишь в том случае, если бы он знал «все средства той среды, где ему судьбой назначено жить <...> Он не имеет права возмущаться несовершенством общества и, уединясь на прохладные метафизические вершины, считать свою человеческую обязанность исполненной. Пламенно восприняв из просвещения то, что кажется ему светлым и плодотворным, — он исполняет лишь одну вступительную часть своей задачи. Сама задача заключается в жизни, в посильном и непреложном примирении с жизнью, в неотступном и благотворном влиянии на общество, среди которого он родился»⁸⁴.

Дудышкин не считает «лишних людей» типичным явлением русской жизни и упрекает Тургенева в том, что в его произведениях они являются «отвлеченными лицами», а это доказывает, что у писателя «нет до сих пор *полного* понимания жизни».

О солидарности с Дудышкиным в оценке тургеневского образа «лишнего человека» и вообще всей деятельности писателя было заявлено в анонимной статье «Сына отечества» «Обзор литературных изданий»⁸⁵.

Статья Дудышкина написана туманно, в ней ощущается какая-то недосказанность, стремление утаить за историческими экскурсами и общими рассуждениями основную мысль — отрицательное отношение к творчеству Тургенева. Чернышевский прекрасно понял эту заднюю мысль Дудышкина и прямо указал на нее: «...видно, что критику хочется сказать что-то такое, чего он не решается высказать прямо <...>, видно, что ему хочется пошатнуть нечто такое, до чего неловко ему коснуться. Видно, что ему хотелось бы возобновить суждения „Москвитянина“ и „Московских сборников“ о таланте и произведениях г. Тургенева, но что он не решается этого сделать»⁸⁶. И Чернышевский становится на защиту Тургенева, нанося главный удар противнику по вопросу о положительном герое. Он резко выступает против неверного положения Дудышкина: идеал писателя должен гармонизировать с обстановкой. Такой гармонии нет ни у одного поэта, начиная с Гомера и кончая писателями 1857 г., и поэтому нельзя судить Тургенева с этой точки зрения.

Чернышевский ставит автору «Рудина» в заслугу именно то, что его герои противостоят среде, находятся в конфликте с нею. Чернышевский разъясняет смысл слов Дудышкина «человек должен гармонизировать с обстановкой» и «трудиться». Это значит, угождать всем, никому не противоречить, приспособляться к обстоятельствам, «быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком», иными словами, «устраивать свои дела так, чтобы вам было тепло и спокойно». Этот энергичный отпор Чернышевского Дудышкину, стремившемуся протащить в своей статье враждебную революционной демократии идею о положительном герое — практическом деятеле, идущем нога в ногу с правительством, находящемся в полной гармонии с социальной средой, ясно говорит о том, что Чернышевский не усматривал в романе Тургенева тенденции возвысить над Рудиным практика и либерального деятеля Лежнева и считал, что «лишние люди» по своему значению выше «практических деятелей» во вкусе Дудышкина.

Резкие возражения вызывает у Чернышевского тезис Дудышкина, что тургеневские «лишние люди», повторяя героев Баратынского, Лермонтова, являются для их творца идеалом. Рассматривая «лишних людей»

с исторической точки зрения, Чернышевский прекрасно понимает, что в образах Баратынского, Лермонтова и Тургенева отражена действительность разных общественно-политических периодов. Чернышевский отрицает также тождественность тургеневских героев между собой, которую подчеркивает Дудышкин. «Но какое же сходство между Пасынковым и Вязовниным, между Рудиным и Бретёром?», — спрашивает он. Чернышевский одобряет критический подход Тургенева к Рудину. «Рудин изображен вовсе не идеалом — только в конце повести автор несколько смягчается к выведенному им типу и, думая, что уже с достаточною силою выставил его недостатки, говорит, что было в нем и нечто хорошее, — именно его пламенная ревность трудиться, трудиться неутомимо, — но, прибавляет он, возвращаясь к прежней точке зрения, с которой смотрел на него во все продолжение рассказа, — но эта ревность мало принесла пользы, потому что у Рудина недоставало практического такта, не было умения взяться с надлежащей стороны за дело»⁸⁷. Принимая тургеневский критицизм в отношении Рудина, Чернышевский настаивает на положительном значении этого типа людей. Рудины, как и его предшественники, проложили и очистили дорогу тем, которые должны сделать новый шаг вперед, чтобы со свежими силами стать во главе исторического движения. «Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями»⁸⁸.

Итак, Чернышевский не отказывается сейчас — в 1856 — начале 1857 гг. — от наследства 30—40-х годов. Время Рудиных прошло, их историческая роль сыграна, но эта роль была прогрессивной, несмотря на все свойственные им недостатки. Передовые дворянские интеллигенты этой исторической поры, при всей своей бездеятельности, подготовили почву, на которой вырастут их преемники — молодое поколение борцов. Так решает он вопрос о «лишних людях».

в. Спор о «лишних людях» и об идейном наследии 30—40-х годов в период революционной ситуации 1859—1861 гг.

Однако с конца 1857 г. Чернышевский начинает пересматривать свою прежнюю точку зрения. Толчком для этого послужило отношение прежних передовых деятелей к крестьянской реформе. После опубликования двух рескриптов Александра II (от 20 ноября и 8 декабря 1857 г.) о предстоящей ликвидации крепостного права все резче и глубже идет размежевание между двумя лагерями, революционно-демократическим и либеральным. Чернышевский и Добролюбов осознают полную неприемлемость для себя позиций либералов в крестьянском вопросе, резко и безоговорочно осуждают их активное содействие реформе «сверху», чтобы избежать народного взрыва и освобождения крестьян «снизу». Всё более убеждаются они в том, что подлинными наследниками «лишних людей» являются отнюдь не разночинцы-революционеры, а либералы с их двойственностью, с их прекрасными словами о служении народу и с их деятельной поддержкой царского правительства в реформе, имеющей целью обмануть и ограбить крестьян.

Нет нужды подробно излагать здесь точку зрения Чернышевского и Добролюбова 1857—1861 гг. на «лишних людей», так как она неоднократно анализировалась в научных работах, посвященных революционно-демократической критике. Следует напомнить лишь некоторые положения

первой статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», побудившие Герцена встать на защиту «лишних людей». Цель ее «изложить наши понятия о различии, какое мы делаем между прошлым и нынешним поколением». Добролюбов начинает характеристику старшего поколения с экскурса в прошлое: «Известно, что очень немногие из литературных деятелей, сделавшихся особенно заметными в последнее время, принадлежат собственно нынешнему времени. Почти все они выработались гораздо прежде, под влиянием литературных преданий другого периода, начало которого совпадает в истории... впрочем, что нам до истории: читатели сами ее должны знать... будем говорить только о литературе. В литературе начало этого периода совпадает со временем основания „Московского телеграфа“». И фигура умолчания, и ссылка на «Московский телеграф», который начал выходить в 1825 г., — все это не оставляет никаких сомнений, что Добролюбов имеет в виду декабристов и их влияние, сказавшееся на передовых деятелях 30—40-х годов. Именно тогда появились «благородные и энергичные люди», понимавшие, что в России не все обстоит благополучно, и «желавшие, чтобы жизнь нашла свое отражение в печатном слове всеми своими сторонами, хорошими и худыми, и всеми своими стремлениями, близкими и далекими. Изобразителем этих сторон явился Гоголь, истолкователем этих стремлений — Белинский; около них группировалось несколько десятков талантливых личностей. Все они дружно принялись за свое дело и явились перед обществом действительно передовыми людьми, руководителями общественного развития».

Конец этого периода, указывает Добролюбов, совпал со смертью Белинского. Об усилившейся в России после французской революции 1848 года реакции Добролюбову приходится говорить опять обиняками. В эту эпоху прежние передовые люди надолго замолкли и ничего не делали. Лишь с середины 50-х годов, т. е. с момента «либеральной весны», наступившей в начале царствования Александра II, они опять заговорили. Добролюбов иронически называет их «зрелыми мудрецами», претендующими поучать молодое поколение, однако не могущими «стать в уровень с современными потребностями». Прежние деятели стали толковать даже не о том, на чем остановились в 1848 году, а о том, с чего некогда начинали. «И вот пошли повторения задов, пошли контroversии о разных предметах — ясных и бесспорных, или мелких и пошлых». Люди старшего поколения превратились сейчас в бесполезных фразёров, в людей «маниловского характера». Они «проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями <...> выше всего был для них принцип <...> жизнь была для них служением принципу, человек — рабом принципа». Исходя из отвлеченных принципов и не умея разобраться в требованиях жизни, они постоянно попадали в фальшивое положение; испытывали вечное недовольство собой, подбадривали себя громкими фразами и терпели неудачи в практической деятельности. Вот почему молодое поколение, сначала относившееся к «зрелым мудрецам» с уважением, увидя их пустую болтовню, их требование идти медленным шагом — путем постепенных реформ, — отвернулось от них. Добролюбов отказывается признавать их наследниками современную молодежь — людей дела, реальных, с крепкими нервами. «Мы не поклонники учения о безусловной и регулярной преемственности поколений», — замечает он. Из поколения 30—40-х годов критик выделяет Белинского и еще пять-шесть человек, «умевших довести в себе отвлеченный философский принцип до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности», а также Герцена и Огарева, о которых ему снова приходится говорить эзоповским языком («сильные люди», сумевшие вести непрерывную борьбу, сохранившие «свежесть и молодость сил», «люди будущего»).

В аллегорической форме Добролюбов характеризует революционное дело молодого поколения. Сравнивая его с игрой в шахматы, критик вы-

сказывает уверенность, что нынешние молодые люди, действуя осторожно и предусмотрительно, «заранее обдумав план атаки и беспрестанно следя за всеми движениями противника (<...>), добьются своего шаха и мата»⁸⁹. Эти же положения Добролюбов продолжает развивать в статье «Что такое обломовщина?», где доказывает, что «лишние люди», начиная с Онегина и кончая Рудиным, — обломовцы, родные братья Обломова, страдающие той же социальной болезнью, что и герой Гончарова. Эта болезнь порождена феодально-крепостнической системой и проявляется в общественной инертности, пассивности, в речах, не поддерживаемых делами, — словом, в чертах, присущих сейчас именно либералам.

На статьи «Литературные мелочи прошлого года» и «Что такое обломовщина?» Герцен ответил статьей «Very dangerous!!!». Он возмущен ниспровержением в «Современнике» «лишних людей», видя в этом недооценку исторического значения передовых людей прошлого. Онегины и Печорины были в свое время «совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни». Трагизм «лишних людей» в том, что они осознали себя как личность, но в тисках николаевской реакции не могли найти дела. Теперь «время Онегиных и Печориных прошло», в России не может быть «лишних людей», потому что сейчас есть возможность дела — «к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свист или лентяй». Таким лентяем и является Обломов. «Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных, потому что чуяло в них *свои страдания*, отвернется от Обломовых»⁹⁰. Герцен считает нужным провести водораздел между старыми «лишними людьми», чья судьба была глубоко трагичной, и нынешними бездельными «лишними людьми», которые не трудятся, потому что они ленивы и апатичны, а не потому, что они не имеют возможности из-за общественных условий заняться делом.

Вопрос о преемственности новых деятелей от «лишних людей» был для Герцена существенно важным. Он полагает, что Чернышевский и Добролюбов игнорируют революционное наследие прошлого. Сам Герцен был представителем поколения, пробужденного декабристами. Ведь это он развернул революционную агитацию, которую «подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы...»⁹¹.

С герценовской оценкой «лишних людей» в «Современнике» не согласились, и в мартовской книжке журнала 1860 г. в статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов снова повторил сказанное раньше: если в прошлом «лишние люди» имели значение, то теперь они выродились в бездельных, пустых и ленивых либералов, боящихся революции.

В свою очередь Герцен ответил Добролюбову в статье «Лишние люди и желчевики», где снова заступался за «лишних людей». Они были раньше «столько же *необходимы*, как *необходимо* теперь, чтоб их не было», — замечает он. Герцен считает нужным прежде всего отделить от старой гвардии «лишних людей» нынешних «вольноопределяющихся в лишние люди», «оторопелых, нервно-расслабленных юношей, теряющихся перед упругостью практической работы». Он требует объяснения характера «лишних людей» историческими условиями, социальной средой и жизненными обстоятельствами. Те, кого называют «лишними людьми», были детьми, когда произошел разгром декабристов, но они уже успели испытать влияние тогдашних идей и вошли в жизнь с верой в «зарю пленительного счастья», хотя менее восторженные, менее непреклонные, чем люди декабристской эпохи. Вскоре они стали понимать все яснее, что против них — Николай I со всей своей хорошо разработанной системой угнетения, что «и народ не с ними или, по крайней мере, что он совершенно чужой». Если прибавить к этому разочарование в идеях, шедших с Запада, то станет ясным, что у этих людей не было почвы под ногами, и им оставалось или «идти на служ-

бу или сложить руки и сделаться *лишними, праздными*. Только немногие, наиболее сильные, такие, как Белинский, умевший писать, и Грановский, умевший читать лекции, не опускали рук, а «множество людей с меньшими силами были парализованы и глубоко страдали этим». «Лишние люди» — без вины виноватые; их сформировала страшная эпоха царствования Николая I, — таков исторически правильный вывод Герцена.

Однако в то время как «лишние люди» вынуждены были предаваться тоске и тяжелым раздумьям, в Московском университете, в Царскосельском лицее выросли юноши, которые «пронесли через все царство мертвых душ, на молодых плечах своих, кивот, в котором лежала будущая Россия, ее живую мысль, ее живую веру в грядущее». Эти молодые люди, пишет Герцен, рано постарели, озлобились, стали «желчевиками», но они — шаг вперед. Однако как и «лишние люди», «желчевики» тоже сойдут со сцены, и даже скоро сойдут; им уже готовится смена ⁹².

Желчевики в понимании Герцена — это Чернышевский, Добролюбов и их соратники. Герцен считает их преемниками «лишних людей», тоска и печаль которых перешла у них в озлобление и желчь, являющиеся естественным ответом на реакцию, воцарившуюся в России с 1848 г. В своем справедливом отрицании старой жизни они порой доходят до крайностей, и одной из них является их незаслуженная враждебность к «лишним людям» недавнего прошлого.

г. Позиция Тургенева в споре об идейном наследстве 30—40-х годов

Точку зрения Герцена на историческое значение «лишних людей» во многом разделял Тургенев. Прочитав статью «Лишние люди и желчевики», он в письме 12/24 октября 1860 г. благодарит Герцена, что он «за нас, лишних, заступился». Спор о «лишних людях» должен был его волновать — ведь в полемике этой, пускай косвенно, шла речь и о нем, писателе того же, что и «лишние люди», поколения 30—40-х годов. Ведь от него отказались и вели с ним борьбу в «Современнике», который много лет был «его» журналом, и резко указывали на неприемлемые сейчас для журнала литературные и общественно-политические позиции автора повести «Ася». Тургенев принял участие в споре о «лишних людях», вступив в него после опубликования Герценом статьи «Very dangerous!!!» и до написания статьи «Лишние люди и желчевики»: он сказал свое слово статьями «Гамлет и Дон-Кихот» и концовкой романа «Рудин», изображающей гибель его главного героя. Несомненно, он придавал этому эпизоду большое значение. Опасаясь, что «конец „Рудина“» может повлечь запрещение всех его «Сочинений», издаваемых Основским, Тургенев, тем не менее, внес его в текст романа, правда, приняв некоторые меры предосторожности. Не желая, чтобы критика обратила внимание публики и властей на новую часть эпилога, он передал через Панаева просьбу Чернышевскому не писать о ней. Чернышевский сообщил об этом в своих «Воспоминаниях».

Но и эта предосторожность не избавила Тургенева от беспокойства за цензурную судьбу второго эпилога. Не получив от Основского вышедшего в конце 1860 г. четвертого тома своих «Сочинений», где был напечатан с дополненным эпилогом «Рудин», он запрашивает Фета 11/23 января 1861 г.: «...мне собственно хотелось бы знать, попали ли в текст некоторые изменения и прибавления, как, например, конец „Рудина“».

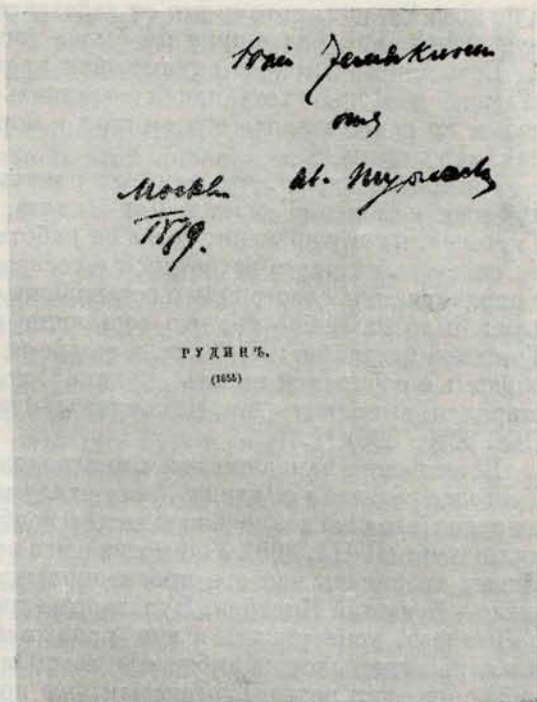
Изображая смерть Рудина, писатель открывает в нем новую черту — героизм борца, способного пожертвовать жизнью во имя революции. Образ Рудина, гибнущего с красным знаменем на баррикаде, нужен был Тургеневу, чтобы подчеркнуть преемственную связь между людьми 30—40-х годов и современными деятелями.

РОМАН «РУДИН» С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮ АВТОРА:

«Юлии Темякиной от Ив. Тургенева.
Москва, 1879»

Сочинения И. С. Тургенева, ч. 3.
М., 1874. Шмуктитул

Литературный музей, Москва



Была еще одна причина, побудившая Тургенева революционизировать героя своего романа. Образ Рудина, погибающего на баррикаде, был для Тургенева удобным средством объяснить свое отношение к революции. Тургенев признает громадную моральную высоту революционеров, силу самопожертвования, на которое они способны, и в то же время отмечает бесполезность их героизма. Рудин появляется на вершине баррикады, когда защитникам ее стало ясно, что «восстание „национальных мастерских“ было почти подавлено», когда они покидали разбитую баррикаду, которую вот-вот возьмут правительственные войска. Подвиг Рудина безрассуден — спасти проигранный бой он не сможет. Чтобы обнаружить это, Тургенев прибегает к приему выразительной, много говорящей детали. У поднявшегося на баррикаду Рудина в одной руке красное знамя — символ свободы, в другой — «кривая и тупая сабля». Сабля Рудина — бутафорское оружие. Она лишь символ борьбы, но борьбы безрезультатной.

В финале романа Тургенев протягивает нити от Рудина — Гамлета к Дон-Кихоту, от «лишнего человека» к революционеру. Исследователи творчества Тургенева не раз указывали, что статья «Гамлет и Дон-Кихот», напечатанная в «Современнике» (1860, № 1), является авторским комментарием к «Накануне». Тургенев толкует образ Дон-Кихота как героя-революционера, образ Гамлета как измученного анализом и рефлексией «лишнего человека»⁹³. Сближение Рудина с Дон-Кихотом наметилось не только в концовке, но уже и раньше — в тексте романа. Уезжая из имения Ласунской, Рудин сравнивает себя с Дон-Кихотом. «...помните вы, — спрашивает он провожающего его Басистова, — что говорит Дон-Кихот своему оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? „Свобода, — говорит он, — друг мой Санчо, одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому!“ Что Дон-Кихот чувствовал тогда, — я чувствую теперь...» (гл. XI). Это сравнение с Дон-Кихотом — не фраза

и не поза Рудина, потому что он действительно «не пускал корней в неудобную почву, как она жирна ни была» (эпилог).

Есть данные, правда скудные, для предположения, что замысел статьи «Гамлет и Дон-Кихот» начал возникать у Тургенева уже в конце 40-х годов, но осуществлять его он стал в пору, близкую по времени к работе над «Рудиным»⁹⁴.

Интересно также, что замысел романа «Накануне», близкого по главной идее к статье «Гамлет и Дон-Кихот», тоже относится, как указал сам Тургенев, к тому времени, когда он работал над «Рудиным». Живя в 1855 г. в Спасском, он часто встречался с соседом Каратеевым, уехавшим вскоре с ополчением в Севастополь и оставившим ему тетрадку, где «беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание „Накануне“». Тургенев добавляет: «Правда, в то время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать „Рудина“, но та задача, которую я потом постарался выполнить в „Накануне“, изредка возникала передо мною» (ПСС XII, 306)⁹⁵.

Естественно напрашивается предположение о том, что в период, когда Тургенев создавал «Рудина», жил раздумьями о «лишних людях» и сурово их судил, его уже волновала «мысль о необходимости сознательно-героических натур» (П III, 368). Уже тогда в его воображении рядом с Гамлетом начинает возникать как его противоположность Дон-Кихот, рядом с Рудиным — будущий Инсаров. Вульгарные социологи видели антипода Рудина в Лежневе, усматривали в нем положительное лицо, якобы проводящее в жизнь тургеневскую либеральную программу постепенных преобразований, тогда как перед Тургеневым уже носился в это время образ, полярный Рудину, героический образ борца. Писатель понимал, что Рудины сыграли свою историческую роль, и им на смену должны прийти новые люди, сильные и волевые, готовые отдать жизнь за великое дело. Он еще не находил в русской жизни таких деятелей, и тетрадка Каратеева помогла ему их увидеть. Каратеев «вывел меня из затруднения и внес луч света в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышления» (ПСС XII, 307).

Родившийся еще в середине 50-х годов, замысел о необходимости для России «сознательно-героических натур», осуществляется в 1859—1860 гг. в статье «Гамлет и Дон-Кихот» и в романе «Накануне», когда уже ясно определилась в историческом процессе борьба двух тенденций — революционно-демократической и либеральной. Тургенев видел эту борьбу, осознавал ее и в связи с нею ставил вопрос о наследстве 30—40-х годов. Его развернутым ответом на этот вопрос, весьма близким Герцену, является статья «Гамлет и Дон-Кихот».

Не случаен выбор этих двух литературных героев. Гамлет — имя, уже ставшее нарицательным для «лишнего человека». Сам Тургенев одного из них назвал «Гамлетом Шигровского уезда», а Чернышевский, подхватив эту традицию, окрестил Буеракина, персонаж из «Губернских очерков» Шедрина, «Гамлетом Крутогорской губернии». Воспользовавшись образом Шекспира, он дает здесь беспощадный по отношению к «лишнему человеку» анализ его моральной и общественной никчемности. В той же статье Чернышевский вспоминает и Дон-Кихота. Чтобы показать оппортунизм либералов, он сопоставляет их с римским пропретором Верресом, управлявшим Сицилией, совершавшим там всякие беззакония и считавшим, что в силу создавшихся в Сицилии условий, он должен был действовать именно так: иначе бы «я разыгрывал в Сицилии роль Дон-Кихота. Carissime! глупо сражаться с ветряными мельницами. Поверьте: не нам с вами остановить могущественное действие крыльев, движимых силами стихий», — такие, уничтожающие либералов слова вкладывает Чернышевский в уста Верреса⁹⁶. Образ Дон-Кихота нужен Чернышевскому, чтобы противопоставить его либералу, считающему революционную борьбу бессмысленной.

В полемике по поводу «лишних людей» Тургенев и прибегнул к фигурам Гамлета и Дон-Кихота, уже ранее использованным в ней. В Гамлете и Дон-Кихоте Тургенев видит глубоко противоположные, но и органически связанные между собой исконные человеческие типы — тип отрицателя не только всего отживающего, но и существующего, и тип борца за новое. Они оба отражают «коренной закон всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал» (ПСС VIII, 184).

Гамлет в толковании Тургенева — это эгоист, никого не любящий, все отрицающий Мефистофель, подвергающий беспощадному анализу любую мысль, любое чувство, безграничный скептик. В отрицании Гамлета скрыта большая прогрессивная сила. «Скептицизм Гамлета, не веря в современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне поверить», — говорит Тургенев (ПСС VIII, 183). Сила его отрицания громадна: она уничтожает и то, что надо истребить, и то, что следует пощадить. Трагизм гамлетовской личности, в которой разъединены ум и воля, в том, что она не знает, где остановиться в своем отрицании.

Воля, стремящаяся к идеалу, — Дон-Кихот. Его характерные черты — «высокое начало самопожертвования» во имя великих идей «правды, красоты, добра», вера в истину, деятельная любовь к людям, жажда жить для других, душевная чистота и нравственность.

Подводя итоги, Тургенев делает такой вывод: «...с одной стороны, стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой — полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят» (ПСС VIII, 183—184). В чистом виде эти типы обычно редко встречаются: «в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени» (ПСС VIII, 173).

«Дон-Кихоты находят — Гамлеты разрабатывают», между ними необходимая и крепкая внутренняя связь. Значение Гамлетов в том, что «они образуют и развивают людей, подобных Горацию, людей, которые, приняв от них семена мысли, оплодотворяют их в своем сердце и разносят их потом по всему миру» (ПСС VIII, 189 и 190); Гамлеты — просветители, люди «добротного слова». За их мысли Дон-Кихоты жертвуют жизнью, совершают свои бессмертные добрые дела, которые «долговечнее самой сияющей красоты», потому что «все минется <...> одна любовь остается» (ПСС VIII, 191). Тургенев устанавливает преемственность, существующую, по его мнению, между Гамлетами и Дон-Кихотами, между «лишними» и «новыми» людьми. Как ни различны они, но между ними глубокая историческая связь. Дон-Кихоты революции, «новые люди», высоконравственные, готовые на самопожертвование, становятся «главными поборниками» той истины, в которую не могут до конца поверить полные сомнения Гамлеты.

Тургенев считает вполне закономерным появление в определенные исторические периоды революционных деятелей, и не случаен его интерес к ним. У нас принято считать, что Тургенев обращается к изображению революционной действительности 60-х годов вопреки своему либерализму — просто как писатель-реалист. Такой взгляд представляется нам неправильным⁹⁷. Диалектика исторического развития убеждала писателя в неизбежности выступления Дон-Кихотов революции, заставляла размышлять над ними и воплощать их в художественных образах. И, что еще важно подчеркнуть, Тургенев признает более прогрессивным значение Дон-Кихотов, чем Гамлетов. Оба типа порождены жизненным процессом, в развитии которого существуют две силы — центристская, сила эгоизма,

воплощенная в Гамлете, и центробежная — принцип преданности и жертвы, — нашедшая свое выражение в Дон-Кихоте. «Эти две силы косности и движения, консерватизма и прогресса, — обобщает Тургенев, — суть основные силы всего существующего» (ПСС VIII, 184). Тургенев признает, что Гамлеты, «лишние люди», являются сейчас носителями принципов косности, консерватизма, тогда как Дон-Кихоты служат прогрессу. Однако это именно «лишние люди» посеяли те семена, которые в борьбе возрастают будущие деятели.

Кто был прав в этом споре о наследстве 30—40-х годов? Герцен и Тургенев или Чернышевский и Добролюбов?

Герцен был прав, потому что он мыслил широкими историческими категориями, беря все наследство 30—40-х годов в целом. Именно так говорил об этом наследстве В. И. Ленин: «Декабристы разбудили Герцена», «помогли *разбудить* народ». Герцен и другие деятели, пробужденные декабристами, развернули революционную пропаганду, а «ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы»⁹⁸. Герцен и настаивал именно на такой преемственности.

Чернышевский и Добролюбов были правы, потому что в условиях революционной ситуации 60-х годов предшественники, «отцы», превратившиеся в либералов, играли уже не прогрессивную роль, а своим прекраснодушием, своей поддержкой реформ «сверху» мешали делу революции. Однако Чернышевский и Добролюбов были неправы, потому что, видя перерождение нынешних «отцов» в либералов-фразеров, отказывали им в прогрессивной роли, которую они играли ранее, когда были «детьми» (в период николаевской реакции), отвергали, за малым исключением, наследство 30—40-х годов.

Неправ был и Герцен, когда, исходя из верной исторической оценки этого наследства, защищал в статье «Very dangerous!!!» деятельность либералов, проявившуюся в мелком обличительстве, в защите «гласности», в общих рассуждениях о прогрессе, т. е. в том, что революционные демократы справедливо считали либеральным прекраснодушием, пустым фразёрством, уведующим от основных — революционных — задач.

Для нас, однако, важно сейчас не только установление степени правоты и неправоты полемизирующих сторон; существенно, что выяснение не исследованной до сих пор роли Тургенева в полемике по поводу идейного наследства 30—40-х годов объясняет одну из важнейших сторон его творчества 60-х годов: почему он, будучи либералом-постепеновцем, все же первым в русской литературе взялся за изображение русского революционера 1860-х годов.

д. Тургенев и крестьянская революция

Вопрос о степени приближения Тургенева в изображении революционеров 60-х годов к их социальному типу, вопрос об ошибках, им здесь допущенных, не менее важен. Он связан с отношением писателя к крестьянской революции.

Считая закономерным появление Дон-Кихотов революции, Тургенев все же бросает на них некоторую тень. В романе Сервантеса «высокое начало самопожертвования схвачено с комической стороны (ПСС VIII, 172); Дон-Кихот «положительно смешон» со своей «тощей, угловатой, горбоносой фигурой, облеченной в карикатурные латы». Правда, Тургенев тут же оговаривается, что в смехе, который вызывает Дон-Кихот, «есть примиряющая и искупляющая сила» (ПСС VIII, 177), что «некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело», что «без этих смешных чудачков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество — и не над чем было бы размышлять Гамлетам» (ПСС VIII, 189). Однако остается

РУДИН. ИЛЛЮСТРАЦИЯ
К РОМАНУ «РУДИН»

Рисунок В. М. Свешникова, 1953
Литературный музей, Москва



впечатление: как ни благородны цели современных Дон-Кихотов революции, как ни велика сила их самоотверженности и жертвенной любви, все же они смешны, потому что ничего не достигнут, ничего не изменят, ничего не перестроят; они подобны Рудину, с тупой и кривой саблей бессмысленно гибнущему за проигранное уже дело революции⁹⁹.

С тургеневским истолкованием образа Дон-Кихота не согласился Добролюбов. Полемизируя с Тургеневым в статье «Когда же придет настоящий день?», он называет «смешными Дон-Кихотами» либералов. «Отличительная черта Дон-Кихота, — указывает он, — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий». Так и «Дон-Кихоты наши» «возятся попусту», то сражаясь с помещиками, злоупотребляющими властью, то с беззаконием и взяточничеством, а сами они плоть от плоти, кровь от крови общества, с которым сражаются. Русский Дон-Кихот из образованного общества «крепко связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освободить Болгарию от турок»¹⁰⁰.

Признавая благородство современных Дон-Кихотов революции, их большую нравственную красоту, Тургенев, тем не менее, не верит в возможность переделки революционным путем социальных отношений. Для него революционные демократы — «полубезумные Дон-Кихоты». Как говорил В. И. Ленин, Тургеневу «претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского»¹⁰¹. Хорошо известно, что Тургенев не принял идеи крестьянской революции. Так, Н. В. Щербань в своих воспоминаниях рассказывает, что во время беседы, происходившей в Париже в начале 60-х годов, на вопрос, что он думает о революционном движении в России, Тургенев заметил: «Сказано и останется верным: не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»¹⁰². О том страхе, который не покидал Тургенева при мысли о крестьянской революции,

имеется много свидетельств. Одно из них, относящееся к 1858 г., весьма характерно. Это письмо Мериме, от 8 июня 1858 г., воспроизводящее услышанный от Тургенева рассказ. По его словам, сообщает Мериме, все, что делается в России для освобождения крестьян, «может повести к тому, что произойдет революция и всех дворян повесят. У него есть любимый лесничий, которого он имеет все основания считать вполне преданным. Тургенев решился спросить, присоединится ли он, в случае возмущения крестьян против помещиков, к восставшим и станет ли он его, Тургенева, убивать. Лесничий сильно побледнел и ответил, наконец, прерывающимся голосом „Конечно, присоединюсь“. Что вы скажете о таком разговоре?»¹⁰³. Боязнь крестьянской революции, этой, по мнению Тургенева, стихийной силы, все сметающей и уничтожающей, и заставляла его быть убежденным постепеновцем. Отрицая «всякий бунт и всякий заговор», он говорил: «не такими путями должны мы идти вперед» (II IV, 201).

Одним из существенных элементов либерализма Тургенева в этот период была мысль о возможном единении всех прогрессивных общественных сил, о сближении всех любящих родину. Уже в 1855 г. он мечтает о возможности такого слияния, и теперь продолжает думать об этом¹⁰⁴. Ему казалось, что почвой для объединения может быть общая, глубокая и непримиримая, вражда к феодально-крепостнической системе и самодержавию. Однако для такого сближения не было оснований, потому что у демократов и либералов была разная стратегия и тактика, были разные цели: в одном случае социализм, завоеванный революционным путем; в другом — буржуазно-демократический строй, достигнутый при помощи постепенных реформ.

Эта идея о сближении передовых общественных сил на почве общенационального дела положена в основу характера Инсарова¹⁰⁵. Высокая цель, которую стремится осуществить Инсаров, — освобождение родины от захватчиков — объединяет его со всем болгарским народом. «Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель», — говорит Инсаров (гл. XIV). Глубокие народные корни Инсарова увидел даже Шубин, сказавший: «Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода!» (гл. XII). Это слияние всех в осуществлении великой, стоящей перед нацией цели дает человеку «уверенность и крепость», непреклонную волю, делает его «железным человеком», превращает в бойца, у которого нет конфликта между личным и общим. Инсаров не сможет «для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу» (гл. XVII).

Общенациональный характер задач, которые стремится разрешить Инсаров, несомненно, противопоставляется Тургеневым делу русской революционной демократии. Для Тургенева большими общенародными целями были национально-освободительная борьба, которой он глубоко сочувствовал, и освобождение крестьян мирным путем. Недаром он говорил, что «в России начиналась новая эпоха (когда готовились реформы. — М. Г.), и такие фигуры, как Елена, Инсаров, являются провозвестниками того, что пришло позже»¹⁰⁶.

Отстаивая важнейшую общенациональную задачу — освобождение народа от крепостной зависимости, — Тургенев полагает, что ее решить нужно мирным, а не революционным путем, так как крестьянская революция явится страшным катаклизмом. Поэтому он считает ее сторонников — революционных демократов — «полубезумными Дон-Кихотами», стремящимися развязать разрушительные силы народного движения.

В вопросе о революции, как и в вопросе о наследстве 30—40-х годов, у Тургенева теперь снова некоторые общие с Герценом точки зрения. В этом отношении весьма характерно предисловие Герцена «От редакции»

к «Письму из провинции» «Русского человека», опубликованное в «Колоколе» (л. 64) 1 марта 1860 г., т. е. почти одновременно с речью Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» и романом «Накануне». На требование «звать к топору», звать к крестьянской революции, предъявленное ему «Русским человеком», Герцен отвечает: «Но к *топору*, к этому *ultima ratio** притесненных, мы звать не будем *до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора*». Только в том случае, если большинство людей объединено одним громадной исторической важности стремлением, естествен и закономерен кровавый переворот. Так было в 1789 г. «1789 год увлек всех, вот отчего его непреодолимая сила. Тогда были минуты, в которые сердца Мирабо и Робеспьера, Сиза и Лафайета бились одинаким образом; потом пришло с развитием разветвление, раскаяние и отчаянный бой». Подобно Тургеневу, Герцен полагает, что, защищая общенациональную идею, можно объединить большинство людей, даже разно мыслящих. В 1848 году не было «той веры, одной и нераздельной», как в 1789 году, а происходила непримиримая классовая борьба, ознаменовавшаяся страшными кровопролитиями. «Июньская кровь взошла у меня в мозг и нервы, — говорит Герцен, — я с тех пор воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности». Если в России произойдет народное восстание, то «это будет великое несчастье», — полагает, как и Тургенев, Герцен¹⁰⁷.

В 1859—1860 гг. между Тургеневым и Герценом был известный идейный контакт, хотя имелись и существенные политические разногласия. Отношения Герцена и Тургенева на всем протяжении их знакомства, начавшегося в 40-х годах, менялись в зависимости от той общественно-политической позиции, которую занимал каждый из них в конкретно-исторических условиях эпохи. Начальные годы революционного подъема в России были временем наибольшей политической близости Герцена и Тургенева. Тургенев для Герцена сейчас — «величайший современный русский художник»¹⁰⁸. Герцен следит за его литературной деятельностью, с большим сочувствием отзывается о его произведениях и видит в Тургеневе союзника и товарища. Он объясняет свое сближение с Тургеневым их общим чувством любви к родине, тревогой за ее судьбы, горячей жадной освобождения народа, верой в его могучие силы. «Я верю в способность русского народа, — писал Герцен в обращенном к Тургеневу письме «Еще вариация на старую тему», — я вижу по озимовым всходам, какой может быть урожай <...> Вот отчего, любезный друг, вы нашли созвучную струну в моем направлении».

По признанию Герцена, у него и у Тургенева одна и та же цель, хотя о средствах ее достижения они спорили. Общая цель — освобождение крестьян, уничтожение прогнившей феодально-крепостнической системы, задерживающей рост творческих сил народа. «Не станем спорить о путях, — обращается Герцен к Тургеневу, — цель у нас одна, будемте же делать все усилия, каждый по своим мышцам, на своем месте, чтоб уничтожить все заборы, мешающие у нас свободному развитию народных сил, поддерживающие негодный порядок вещей, будемте равно будить сознание народа и самого правительства. А потому и заключаю мое длинное письмо к тебе словами: На работу, на труд, — на труд в пользу русского народа, который довольно в свою очередь поработал на нас!»¹⁰⁹.

Совместная работа на пользу народа революционного демократа Герцена и либерала-постепеновца Тургенева стала возможной потому, что Герцен в это время, как указывал В. И. Ленин, колебался между демократизмом и либерализмом: «...Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного

* последнему, решительному доводу (лат.).

народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к „верхам“. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в „Колоколе“ к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения <...> Однако справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх»¹¹⁰.

Хотя в период подготовки крестьянской реформы либерал брал в Герцене иногда верх над демократом, он все же в решении крестьянского вопроса расходился с Тургеневым. Герцен готов был принять реформу «сверху», если она даст волю и землю крестьянам, но он примет и революционное решение крестьянского вопроса. «Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение „сверху или снизу“ — мы будем за него!» — говорит Герцен¹¹¹. Герцен предпочитает сейчас «мирный путь», но он не исключает возможности и «пути развития кровавого».

Реформа «сверху», проведенная Александром II в интересах помещика, отрезвила Герцена, освободила его от либеральных иллюзий. Он понял, что только революционным путем можно разрешить крестьянский вопрос. А Тургенев навсегда остался противником революционных методов переустройства социальных отношений. Вот почему уже в начале 60-х годов Герцен и Тургенев пойдут разными путями. Тот контакт, который намечался ранее, будет разрушен¹¹².

Итак, выступив со статьей «Гамлет и Дон-Кихот» и дополнив «Рудина» новым эпилогом, Тургенев включился в полемику между Герценом и Чернышевским — Добролюбовым и стал в ней на сторону Герцена. Высказанные Тургеневым в ходе этой полемики мысли о революции и ее деятелях имеют большое значение для уяснения политических позиций писателя в период революционной ситуации 1859—1861 гг. Прежде всего, чрезвычайно интересна его мысль о закономерности появления в определенные исторические периоды революционных деятелей. Отсюда и проистекает устойчивый интерес Тургенева к революции, не покидавший его до конца жизни, отсюда его стремление разобраться в целях, стоящих перед деятелями революции, в их характере и действиях.

Второй эпилог романа «Рудин» и статья «Гамлет и Дон-Кихот» — отклик писателя на революционную действительность тех лет. В революционерах он видит замечательные черты, глубоко противоположные свойствам «лишнего человека» — волю, умение достигать намеченной цели, чистоту стремлений, полный отказ от своего эгоистического «я», однако, несмотря на эти качества, их деяния кажутся писателю безрезультатными, а их цели — призрачными.

Нельзя не подчеркнуть, что в характере «Дон-Кихотов революции» Тургенев усматривает именно те черты, которые выдвигали на первый план деятели дворянского освободительного движения. Это тот же образ «гражданина», патриота, готового во имя родины пожертвовать жизнью. Он прошел большим планом через поэзию декабристов и Лермонтова.

Как и «лучших людей из дворян» предшествующей эпохи, Тургенева страшит широкое крестьянское движение, он видит в нем «бунт бессмысленный и беспощадный». Идее крестьянской революции Тургенев противопоставляет идею общенациональной борьбы за свободу родины, объединяющую всех (дело Инсарова), или же мирный путь реформ, для осуществления которого необходимы такие «сознательно-героические натуры», как Инсаров и Елена, без которых это дело не двинется вперед.

В период революционной ситуации 60-х годов Тургенев продолжает оставаться на позициях дворянского освободительного движения, к этому времени уже изжившего себя, — отсюда его конфликт с революционными демократами.

е. Чернышевский и Тургенев в 1860 г.

В небольшом эпизоде второго эпилога заключены мысли, весьма существенные для мировоззрения Тургенева начала 60-х годов. Обратили ли на них внимание революционные демократы или они остались ими незамеченными? Надо думать, что Чернышевский их учитывал, когда в «Полемических красотах» писал о причинах расхождения Тургенева и «Современника». Он имел в виду его «взгляд на вещи»¹¹³, всю сложную и противоречивую систему его воззрений, среди которых самым неприемлемым для революционной демократии было его скептическое отношение к революции, сказавшееся в концовке «Рудина» и в статье «Гамлет и Дон-Кихот». Вот почему именно сейчас резко меняется оценка Чернышевским «Рудина»: из весьма благожелательной, почти восторженной, какой она была в 1856—1857 гг., она стала теперь крайне резкой и даже отрицательной.

В статье о книге «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии» Готорна Чернышевский отзывается о «Рудине» саркастически. Этой «прекрасной повести», как он иронически ее характеризует, он откалывает в художественности. По замыслу своему, пишет Чернышевский, «повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее шиллерова Дон Карлоса, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей». Такие несообразности получились потому, что автор хотел сначала вполне сочувственно изобразить в качестве своего героя человека, «имевшего самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий, затмевавшего величайших ораторов блеском красноречия,—человека, не бесславными чертами вписавшего свое имя в историю, сделавшегося предметом эпических народных сказаний» — Чернышевский имеет в виду Бакунина; но затем автор изменил свое намерение и стал «вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как будто лев годится для карикатуры» — Чернышевский объясняет это желанием Тургенева угодить своим литературным советникам¹¹⁴.

Этот резкий и несправедливый полемический выпад, несомненно, был вызван тем, что Чернышевский не принял второй части эпилога, рисующей картину смерти Рудина, так как не мог согласиться с возможностью превращения «лишнего человека» в революционера,— вот почему, на его взгляд, роман оказался произведением противоречивым.

Естественно возникает вопрос, мог ли Чернышевский знать о характере второго эпилога, когда писал статью о Готорне, напечатанную в июньской книжке «Современника»?— ведь IV том «Сочинений» Тургенева с дополненным текстом «Рудина» вышел лишь в конце 1860 г. Надо думать, что знал. Подготовкой издания «Сочинений» Тургенев занимался в первую половину 1860 г. В письме к Герцену от 2/14 июня он просит выслать ему журнальные тексты «Поездки в Полесье» и «Аси»: «Мне эти повести крайне нужны — я продал полное издание своих сочинений и взялся всё пересмотреть, а срок уже проходит». Текст «Рудина», вероятно, был просмотрен ранее, потому что просьбу к Чернышевскому не откликаться на новый эпилог Тургенев мог передать через Панаева только во время своего пребывания в Петербурге — с 9/21 февраля по 24 апреля/6 мая. Выполняя поручение, Панаев должен был ознакомить Чернышевского с содержанием «конца „Рудина“».

Чернышевский выполнил просьбу Тургенева и ни словом не обмолвился о новом эпилоге, чтобы не привлечь внимания цензуры ко всему изданию сочинений Тургенева. Изобранный в языке намеков и околичностей, он стремился, тем не менее, глухо сказать, что именно последняя

часть эпилога, внесенная в 1860 г., придала двойственность образу Рудина и приблизила его к Бакунину, которого многие считали прототипом Рудина. Сам Тургенев связывал образ Рудина с личностью Бакунина¹¹⁵. В плане своей повести он поставил рядом с именем Рудина букву «Б» (ПСС VI, 464), но он не считал образ Рудина койией Бакунина. Тургенев с удовлетворением отнесся к мнению С. Т. Аксакова, увидевшего между Рудиным и Бакуниным лишь внешнее сходство, а не внутреннее. Для Аксакова оказалось важным, что Рудин — тип определенных людей, которых он не раз встречал на своем веку¹¹⁶. В ответ Тургенев писал: «Мне приятно также и то, что вы не ищите в „Рудине“ копии с какого-нибудь известного лица... Уж коли с кого списывать, так с себя начинать» (П II, 340).

Личность Бакунина дала Тургеневу известный материал для создания обобщающего образа «лишнего человека». У Бакунина он заимствовал для Рудина лишь некоторые свойственные людям его поколения черты: замечательное красноречие, увлечение немецкой идеалистической философией. Однако Бакунин был далек от рудинской неспособности к делу. Уехав из России, он развернул за границей кипучую революционную деятельность. Индивидуально-бакунинское выступает в незначительных сторонах характера Рудина. Так, оба легко берут в долг деньги, спокойно живут на чужой счет. Но и эта бакунинская черточка в образе Рудина интерпретируется как психологический признак идеалиста 30—40-х годов, пренебрегающего жизненными благами и, как ребенок, относящегося к деньгам. Образ Рудина — типический образ, хотя в него вкраплены индивидуальные черты молодого Бакунина¹¹⁷. В журнальном тексте сходство Рудина с Бакуниным не было слишком заметно. Но когда Тургенев дописал эпилог с картиной смерти Рудина, он значительно приблизил своего героя к Бакунину, участнику пражского народного восстания 1848 года и революционных событий в Дрездене в 1849 г.

Русские революционеры-разночинцы должны были считать Бакунина подлинным революционером. Вся жизнь Бакунина после событий 1848—1849 гг. (арест, смертный приговор, выдача царскому правительству, заключение в крепости, ссылка в Сибирь на вечное поселение) могли вызвать у них лишь глубокое сочувствие к нему как жертве царизма и реакции. Им не были известны его малодушие, проявленное в тюрьме, покаанная «Исповедь», признание своей революционной деятельности «политическим безумием», письмо к Александру II о помиловании. Они не могли предугадать политическое будущее Бакунина, когда мелкобуржуазное бунтарство приведет его к анархизму и он станет одним из его вождей. В этом причина того, что для Чернышевского Бакунин 40—50-х годов герой-революционер. Автор статьи о Готорне пишет о нем в эзоповской манере. Это — человек, «имевший самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий», «не бесславными чертами вписавший свое имя в историю», — замечает Чернышевский, имея в виду не «литературные», а «политические» понятия, не вообще «историю», а историю революционного движения.

Новая трактовка Рудина в эпилоге — превращение его из «лишнего человека» в Дон-Кихота революции и приближение его к Бакунину — побудили Чернышевского дать резкую и несправедливую оценку роману в целом. Новый эпилог «Рудина», как и статья «Гамлет и Дон-Кихот», были для Тургенева «программными» произведениями, излагающими его взгляды на революцию. Для революционной демократии эти воззрения были неприемлемы. А противоречивое изображение Рудина (на парижской баррикаде — он лев, борец за свободу; в имении Ласунской — фразёр и позёр, бездельный человек) было воспринято Чернышевским как карикатура на Бакунина. Глубокое возмущение таким портретом революционера и заставило его вступить с Тургеневым в полемику, отвергнуть

«Рудина» с художественной стороны, предъявить Тургеневу обвинение в неумении строить произведение в целом и образ главного героя в частности. Статья о Готорне объявила войну Тургеневу. Вполне понятно, что Тургенев почувствовал себя оскорбленным и принял окончательное решение разорвать с «Современником».

В процессе работы «Рудин» превратился из повести со статичным, «вытянутым в струнку» характером главного героя в социально-психологический роман с широким охватом типических явлений русской жизни, с героем — культурным деятелем, характер которого дан в развитии и объяснен общественными условиями.

История создания романа «Рудин» была, несомненно, сложной. Естественно возникает вопрос, не нарушают ли цельность образа героя дополнения, сделанные Тургеневым в 1855 г. и 1860 г., — ведь не раз критика упрекала его в противоречивости характера Рудина. В действительности этой противоречивости нет, а вносить новые эпизоды в биографию героя позволили композиционные принципы, положенные автором в основу создания образа.

Доработки и дополнения сделаны были Тургеневым не столько под влиянием друзей, особенно Боткина, как это принято считать, сколько под влиянием общественно-политических условий в России. Сложную историю создания романа «Рудин» нельзя понять, если ее изучение не связывать с идейно-политической борьбой 1855—1860-х годов. Уже в первой редакции романа, написанной в Спасском летом 1855 г., Тургенев глубоко критически подошел к «лишним людям», передовым дворянским интеллигентам 30—40-х годов, раскрыв их общественную несостоятельность. Это критическое отношение к передовым деятелям эпохи николаевской реакции было продиктовано исторической обстановкой в России, вызванной поражением в Крымской войне.

В эпилоге журнальной редакции 1856 г., изобразив Рудина старым, усталым, готовым на примирение с действительностью, Тургенев предугадывал те выводы, к которым с конца 1857 г. начнут приходить Чернышевский и Добролюбов, говоря о «лишних людях». Создав образ Покорского и поставив его над Рудиным, Тургенев наметил ту линию, которая должна идти от лучших людей 30—40-х годов к молодому поколению 60-х годов. Вот почему «Рудин» был тогда сочувственно встречен Чернышевским.

Однако по мере того как в России нарастала революционная ситуация, Чернышевский и Добролюбов отказываются от наследия «лишних людей», считают их «отцами» современных либералов, а не революционеров-просветителей. В разгоревшуюся по поводу наследства 30—40-х годов полемику между Чернышевским — Добролюбовым, с одной стороны, и Герценом, с другой, включился и Тургенев, внося второй эпилог и поддержав Герцена. «Революционизирование» Рудина возмутило Чернышевского и побудило его изменить свое положительное отношение к роману на отрицательное, тем более, что новый эпилог романа и статья «Гамлет и Дон-Кихот» ясно обнаружили полную неприемлемость для Тургенева идеи крестьянской революции, хотя писатель считал вполне закономерным появление в определенных исторических периоды деятелей революции, признавал их высокую моральную красоту.

Идейные противоречия Тургенева, ярко сказавшиеся в конце 50—начале 60-х годов, являются характерными противоречиями дворянского освободительного движения, уже изжившего себя. Интерес к революционным деятелям проявляется у Тургенева не вопреки его либерализму, как это принято у нас полагать, а вытекает из его мировоззрения, на которое легла печать дворянского освободительного движения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Современник», 1855, № 11, отд. V, стр. 87.

² О хронологии действия в романе «Рудин» — см.: В. В. Данилов. Хронологические моменты в «Рудине» И. С. Тургенева. — «Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук», т. XXIX. Л., 1925, стр. 160—166, а также примечания к «Рудину»: И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем Издание Академии наук СССР (в дальнейшем: ПСС), т. VI, стр. 568—569.

³ Герцен АН, т. XIV, стр. 11.

⁴ Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. VIII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 392.

⁵ Письма Тургенева цитируются по выпшедшим томам академического издания с указанием: П, том (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

⁶ М. К. Клеман. Комментарии к «Рудину». — И. С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Изд. 2-е. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 423—448; Г. В. Прохоров. Творческая история романа «Рудин». — ТСБ. Орел, 1940, стр. 108—135. Внешняя история работы Тургенева над «Рудиным» подробно освещена И. А. Битюговой в примечаниях к роману (ПСС VI, 549—556).

⁷ Точку зрения Г. В. Прохорова принял С. М. Петров в «Послесловии» к роману «Рудин» (И. С. Тургенев. Рудин. М.—Л., Гослитиздат, 1950, стр. 132). На нее он ссылается и в книге «И. С. Тургенев. Творческий путь». М., Гослитиздат, 1961, стр. 187. Ее разделяет Г. Б. Курляндская в статье «О романе Тургенева „Рудин“» («Учен. зап. Казанского гос. ун-та», т. 116, кн. 1. Общеуниверситетский сборник, 1956, стр. 283) и в работе «Романы И. С. Тургенева 50 — начала 60-х годов». — Там же, т. 116, кн. 8. Кафедра литературы, 1956, стр. 27).

⁸ Впервые опубликованы Прохоровым в названной статье по копии этих материалов, сделанной Н. В. Измайловым (хранится в ИРЛИ). Они включены в варианты романа «Рудин», напечатанные в VI томе ПСС Тургенева. Ссылки в нашей работе на план «Рудина» делаются по этому изданию.

⁹ Г. В. Прохоров. Указ. статья, стр. 126—127.

¹⁰ Там же, стр. 127.

¹¹ Н. В. Богословский. Литературные взгляды Тургенева. — «Красная новь», 1938, № 11, стр. 249—268; А. Лаврецкий. Литературно-эстетические взгляды Тургенева. — «Литературный критик», 1938, № 11, стр. 66—100; а также его кн. «Эстетические взгляды русских писателей». М., Гослитиздат, 1963, стр. 5—48; Н. Л. Бродский. Белинский и Тургенев. — «Белинский, историк и теоретик литературы». Сборник статей. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 323—342; Л. В. Павлов. Литературно-критические взгляды Тургенева 40-х годов. — «Учен. зап. Карело-Финского гос. ун-та», т. III, вып. 1. Петрозаводск, 1949, стр. 62—84; К. Г. Чмшкян. И. С. Тургенев — литературный критик. Ереван, 1957; Л. Н. Назарова. Тургенев-критик. — «История русской критики», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 509—530; Л. Н. Назарова. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853). — «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 162—167.

¹² Письмо к Тургеневу от 10 июля 1855 г. — БИТ, стр. 61—62.

¹³ Чернышевский, т. II, стр. 90—92.

¹⁴ См. А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., Гослитиздат, 1941, стр. 230; Б. И. Бурсов. Чернышевский как литературный критик. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 24; М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышевского. Л.—М., «Искусство», 1958, стр. 60; Б. С. Юриков. Н. Г. Чернышевский. Критико-биографический очерк. М., Гослитиздат, 1961, стр. 102—103.

¹⁵ Чернышевский, т. II, стр. 73.

¹⁶ Анненков пошел в оценке диссертации Чернышевского много дальше Тургенева, увидев в ней отрицание не только искусства, но и науки и просвещения: «Чернышевский написал книгу для магистра себе: об эстетическом отношении искусства к действительности наподобие Руссо: о вреде просвещения. Недурно, и нелепостями играет очень ловко. Замечательно, что он защитил бесполезность науки и ничтожество искусства в *Университете*» (Отрывок неопубликованного письма 1855 г., вероятно, написанного Анненковым Тургеневу вскоре после защиты Чернышевским диссертации. — ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 7).

¹⁷ «Статьей Чернышевского <...> были здесь все недовольны, главное потому, что она служит как бы комментарием к запискам другого автора. Такая наивная откровенность вовсе неуместна», — писал Боткин Тургеневу 10 ноября 1856 г. (БИТ, стр. 104—105). О том же в письме к Дружинину от 9 октября 1856 г., где Боткин просит передать Панаеву, «чтоб он остановил Чернышевского от дальнейшего развития последней статьи его», так как в Москве все возмущены ее несвоевременностью и ребяческой откровенностью, служащей комментариями к воспоминаниям другого автора. Это плохо и вредно». — Письма к А. В. Дружинину. Ред. и коммент. П. С. Попова. М., 1948, стр. 50—51 (Летописи Гос. лит. музея, кн. 9).

¹⁸ «Статья о Белинском (IX книжка) произвела остервенелое бешенство на Бот-

кина и Анненкова: как, дескать, человек, говоря о Станкевиче и всей компании, прямо указывает и на живых людей, принадлежавших к этой компании... Трухнули очень; Анненков упирает на то, что будто бы все переврано Чернышевским. Вообразите, какой вышел изумительный случай, спасший редакцию „Современника“ от окончательного яда Василия Петровича: при наборе, как-то нечаянно, выпало его имя, и таким образом, к величайшей радости Панаева, Василий Петрович не поименован. Хорошо, что так случилось, а то все телеграфы облиты были бы ядом!..» (Т. и круг «Совр.», стр. 284).

¹⁹ См. также письмо к Панаеву от 3/15 октября и к Л. Н. Толстому от 16/28 ноября 1856 г.

²⁰ В письме от 16/28 декабря 1856 г. Тургенев горячо возражает Л. Толстому, обвинявшему Чернышевского в фетишизации Белинского и в обращении к старине, которую не следовало бы трогать. Он рад, что сказано наконец правда о Белинском, ведь «дело идет об имени человека, который всю жизнь был — не скажу мучеником (вы громких слов не любите), но тружеником, работником спекулятора, который его руками загребал деньги и часто себе приписывал его заслуги. (Я сам был не раз этому свидетелем); вспомните, что бедный Б<елинский> всю жизнь свою не знал не только счастья или покоя — но даже самых обыкновенных удовлетворений и удобств; что в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами; что он смертью избег судьбы, может быть очень горькой...» (II III, 60—61).

Б. М. Эйхенбаум в статье «Лев Толстой за чтением Белинского» («Молодая гвардия», 1956, № 2, стр. 232—234) указывает, что именно это письмо Тургенева побудило Толстого заняться чтением Белинского и пересмотреть свое отношение к критику.

²¹ См. также письмо к Д. Я. и Е. Я. Колбасиным от 19/31 октября 1856 г.

²² Вл. Бонч-Бруевич. От редакции. — «Письма к А. В. Дружинину», стр. 18-а — 18-г.

²³ Письмо Дружинина к Тургеневу от 27 июня 1855 г. — Т. и круг «Совр.», стр. 175. См. также его письмо к Тургеневу от 28 июля 1855 г. — Там же, стр. 186.

²⁴ Письмо Боткина к Некрасову от 19 апреля 1856 г. — «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 93.

²⁵ Письма к Тургеневу от 13 октября 1856 г. и 26 января 1857 г. — Т. и круг «Совр.», стр. 194 и 206.

²⁶ Некрасов, т. X, стр. 304.

²⁷ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 174—176.

²⁸ Чернышевский, т. XIV, стр. 333.

²⁹ «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым». — В кн.: П. Анненков. Литературные воспоминания. (М.), 1960, стр. 408.

³⁰ Кроме Г. В. Прохорова, так же думает Г. А. Бялый — см.: «История русской литературы», т. VIII, ч. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 346; Г. А. Бялый. Тургенев и русский реализм. М.—Л., 1962, стр. 70. До Прохорова ту же мысль высказывал М. К. Клеман в кн.: «Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества». Л., ГИХЛ, 1936, стр. 84.

³¹ «Современник», 1855, № 5, отд. V, стр. 117.

³² И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М. 1950, стр. 238—239.

³³ Об этом см. нашу статью «Первая повесть И. С. Тургенева „Андрей Колосов“». (В поисках нового героя). — «Учен. зап. Харьков. Гос. библиотечного ин-та», вып. V. Вопросы литературы, 1961, стр. 135—159.

³⁴ Предположение, что заключительной части XII главы не было в первой редакции романа, сделал М. К. Клеман в «Комментарии» к «Рудину» (И. С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 441), аргументируя лишь тем, что она не предусмотрена планом. Мотивировки, предлагаемой нами, у него нет. С Клеманом согласна И. А. Битюгова, автор текстологического комментария к «Рудину» (ПСС VI, 556).

³⁵ Г. В. Прохоров. Указ. статья, стр. 127.

³⁶ Белинский, т. X, стр. 18, и т. XII, стр. 433.

³⁷ Герцен АН, т. IX, стр. 28.

³⁸ В. П. Боткин. Письмо к Фету от августа 1862 г. — А. Фет. Мои воспоминания, т. I. М., 1890, стр. 402—403.

³⁹ Там же, стр. 403.

⁴⁰ Дობролюбов, т. II, стр. 209 и 210.

⁴¹ Там же, стр. 208.

⁴² С. И. Даниелин в работе «О романе Тургенева „Рудин“» («Статьи о русской литературе», Тбилиси, 1956, стр. 60—93) тоже считает, что Рудин был просветителем, но в доказательство своего положения идет иным путем. Он рассматривает характер философских воззрений Рудина и приходит к выводу, что тургеневский герой не был самостоятельным мыслителем, а выступал как пропагандист чужих философских идей, причем эта пропаганда в условиях николаевской России была актуальной и прогрессивной. Эти соображения не вызывают возражений. Однако вопрос о Рудинских в период возникновения революционной ситуации 60-х годов не мог быть только истори-

ческим вопросом, а являлся глубоко злободневным. Роман судил не только прошлое «лишних людей», но и их настоящее, их роль именно сейчас, в середине 1850-х годов.

⁴³ Н. Л. Б р о д с к и й. Генеалогия романа «Рудин» — в сб. «Памяти П. Н. Сажина». М., 1931, стр. 18—35.

⁴⁴ См. письмо Тургенева к М. Н. Толстой от конца июля—начала августа ст. ст. 1855 г. (П II, 303).

⁴⁵ «Библиотека для чтения», 1857, № 5, «Критика», стр. 40; см. также: А. В. Д р у ж и н и н. Собр. соч., т. VII. СПб., 1865, стр. 370.

⁴⁶ Н е к р а с о в, т. X, стр. 259.

⁴⁷ См., например, статью Н. И. Пруцкова «В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х годов XIX столетия». Н. И. Пруцков пишет: «Следует сказать, что благодаря Боткину „Рудин“ является одним из произведений Тургенева, связывающих его с традициями кружка Станкевича и „Современника“, с лагерем Некрасова—Чернышевского. Для Боткина это было одним из последних проявлений его симпатий к своему прошлому, одним из последних эпизодов, связывающих его с прогрессивной журналистикой и литературой» («Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Филологич. науки. Вып. 3, 1947, стр. 97). Но Тургенев еще не расходился с «Современником» в период создания «Рудина», а потому «связывать» его с журналом не было нужды. К тому же Боткин хотел смягчить образ Рудина, т. е. ослабить критическое отношение к «лишним людям», чего ему не удалось достичь.

⁴⁸ Н е к р а с о в, т. X, стр. 254.

⁴⁹ Там же, т. IX, стр. 333.

⁵⁰ Ч е р н ы ш е в с к и й, т. III, стр. 351, 353, 222—223.

⁵¹ Ап. Г р и г о р ь е в. Собр. соч. Под ред. В. Ф. Садовника, вып. 10. И. С. Тургенев и его деятельность. (По поводу романа «Дворянское гнездо»). М., 1915, стр. 20.

⁵² Г е р ц е н АН, т. IX, стр. 35—36.

⁵³ У ч л о в о в кружка Покорского тоже имеются реальные прототипы: Субботин — поэт Красов, Щитов — Ключников, Шеллер — Кетчер. См. Н. Л. Б р о д с к и й. Поэты кружка Станкевича. — «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1912, т. XII, кн. 4. СПб., 1913, стр. 1—70; В. В. Д а н и л о в. Комментарий к роману И. С. Тургенева «Рудин». М., 1918, стр. 22—35.

⁵⁴ Г е р ц е н АН, т. IX, стр. 10.

⁵⁵ Там же, стр. 31.

⁵⁶ О том, что Покорский — «образ не только Станкевича, но и Белинского», пишет и Н. Л. Бродский в статье «Белинский и Тургенев». — Сб. «Белинский, историк и теоретик литературы». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 337.

⁵⁷ Ч е р н ы ш е в с к и й, т. III, стр. 179, 197, 198, 210—211.

⁵⁸ Д о б р о л о в, т. III, стр. 62—63.

⁵⁹ В. С. Н е ч а е в а. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 178.

⁶⁰ С оценкой образа Покорского в вышеупомянутой статье С. И. Даниелян нельзя согласиться. Он полагает, что Покорский «только для того и введен, чтобы читатель мог сравнить с ним Рудина <...> Вся композиционная функция образа Покорского исчерпывается обрисовкою личности Рудина, и самостоятельного значения он не имеет» (стр. 69). С. И. Даниелян, несомненно, упрощает образ Покорского, сводя его значение к подсобной в отношении Рудина, чисто композиционной роли. В Покорском, как и в Рудине, обобщены определенные черты действительности.

⁶¹ Г е р ц е н АН, т. IX, стр. 44.

⁶² Там же, стр. 223—224.

⁶³ А. И. Н е з е л е н о в. Тургенев в его произведениях. СПб., 1885, стр. 130—131.

⁶⁴ Д. Н. О в с я н и к о-К у л и к о в с к и й. Собр. соч., т. 7. История русской интеллигенции, ч. I. СПб., 1911, стр. 148—149, 150.

⁶⁵ В. В. Д а н и л о в. Комментарий к роману И. С. Тургенева «Рудин», стр. 48.

⁶⁶ С. М а л а х о в. Творческий путь Тургенева. — Сб. «И. С. Тургенев. (К пятидесятилетию со дня смерти)». Л., ГИХЛ, 1934, стр. 29. До Малахова подобную точку зрения высказал Я. А. Роткович — см. его статью «„Лишние люди“ в произведениях И. С. Тургенева». — «Литература и язык в политехнической школе», 1932, № 2, стр. 17—27.

⁶⁷ Е. И. К и й к о. Роман Тургенева «Рудин». Послесловие. — В кн.: И. С. Т у р г е н е в. Рудин. М.—Л., Детиздат, 1950, стр. 132. Аналогичная точка зрения и у С. М. Петрова «Рудин». Послесловие. — В кн.: И. С. Т у р г е н е в. Рудин. М.—Л., Гослитиздат, 1950, стр. 131, и в его же вступительной статье «И. С. Тургенев. Критико-биографический очерк». Иная трактовка этого вопроса дана С. М. Петровым в книге «И. С. Тургенев. Творческий путь». М., Гослитиздат, 1961, стр. 203—211. П. Г. Пустовойт (в кн.: «Иван Сергеевич Тургенев». М., 1957, стр. 48) придерживается той же, что и Е. И. Кийко, точки зрения.

⁶⁸ Эгоизм, как черта характера Лежнева, подчеркивается Тургеневым не только в эпилоге, но и раньше. Еще в начале романа, после первой встречи с Лежневым в каби-

вете Ласунской, Рудин объясняет его «желание быть оригинальным» — эгоизмом. «Во всем этом много эгоизма, — говорит он, — много самолюбия и мало истины, мало любви. Ведь это тоже своего рода расчет: надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает: вот человек, столько талантов в себе погубил! А поглядеть попристальнее — и талантов-то в нем никаких нет» (гл. IV).

⁶⁹ М. Г о р ь к и й. История русской литературы. М., ГИХЛ, 1939, стр. 171, 176.

⁷⁰ В. Б а т у р и н с к и й. К биографии И. С. Тургенева. 3. Воспоминания о И. С. Тургеневе американского писателя Хьялмара Бойезена. — «Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 69.

⁷¹ Выражение Тургенева в письме к Достоевскому от 2/14 марта 1862 г. (П IV, 348).

⁷² В трех последующих изданиях — бр. Салаевых — Тургенев отделил «Рудина» от других романов и поместил его в одном томе с повестями 1850-х годов; однако в последнем прижизненном издании 1880 г. снова ввел его в группу романов и прямо назвал его романом в «Предисловии» к III тому.

⁷³ Окончательный разрыв Тургенева с «Современником» зафиксирован в его письме к Панаеву от 1/13 октября 1860 г. (П II, 139), но, как известно, разрыв этот подготавливался ранее.

⁷⁴ Н. А. Д о б р о л ю б о в. Письмо к С. Т. Славутинскому, ноябрь 1859 г. — «Огни», кн. 1. Пг., 1916, стр. 53.

⁷⁵ «Современник», 1856, № 3, отд. V, стр. 94—95 (см. также Н е к р а с о в, т. IX, стр. 388—390).

⁷⁶ Двойственность образа Рудина, на которую обратил внимание Некрасов, не раз отмечалась и в последующей критике (В. В. Д а н и л о в. Комментарий к роману И. С. Тургенева «Рудин», стр. 64—72) и в советском литературоведении.

⁷⁷ А. М. Гаркави в статье «Поэма „Саша“» («Некрасовский сборник», II. Под ред. Н. Ф. Б е л ь ч и к о в а и В. Е. Е в г е н ь е в а - М а к с и м о в а. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 151—170), сопоставляя Рудина и Агарина, приходит к выводу, что Тургенев изобразил деятеля прошлого, а Некрасов — современного либерала и дал его сатирический портрет. Что касается Агарина, А. М. Гаркави прав, но с его взглядом на Рудина согласиться нельзя — выше в нашей статье шла речь о слиянии в романе двух точек зрения на «лишних людей» — «исторической» и «современной». Выводы, сделанные в статье, не совсем убедительны еще и потому, что автором не учтены высказывания Некрасова о романе Тургенева.

В оценке образа Рудина мы полностью разошлись с Г. Н. Антоновой, автором статьи «Роман Тургенева „Рудин“ и журнальная полемика о „лишних людях“ в первой половине 50-х гг. XIX в.» («Учен. зап. Орловского гос. пед. ин-та», т. 17, Межвузовский тургеневский сборник, 1963, стр. 130—149). В основу этой работы положена плодотворная мысль об изучении «Рудина» в связи с полемикой вокруг «лишних людей», однако эта мысль не подтверждена анализом ни романа, ни критических отзывов о нем. Решительные возражения вызывает главный тезис исследовательницы: Тургенев «искал причины существования Рудинных прежде всего в самих свойствах человеческой личности» (стр. 149). Автору не удалось опровергнуть утверждение, что тургеневский «лишний человек» — типический характер передового дворянского интеллигента, сформировавшегося в условиях мрачной николаевской реакции 30—40-х годов, и доказать, что изображен он внеисторично, в некоей неизменной психологической сущности. В статье не вскрыты социальные корни колебаний Тургенева между славянофилами, учения которых он никогда не разделял, и Герценом, с которым у него было много общего (см. в том же сборнике интересную статью Л. В. Павлова «И. С. Тургенев и А. И. Герцен. К истории взаимосвязей в 40-е годы»).

⁷⁸ «Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 182.

⁷⁹ «Современник», 1856, № 2, отд. V, стр. 205. — Курсив наш (см. Н е к р а с о в, т. IX, стр. 374).

⁸⁰ В. Б о г р а д. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М. — Л., 1959, стр. 291.

⁸¹ Ч е р н ы ш е в с к и й, т. III, стр. 780. Более детальный анализ «Разговора отчасти литературного, а более нелитературного содержания» сделан нами в статье, подготовленной для III тома серии «Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева».

⁸² «Современник», 1857, № 2, отд. V, стр. 358—364 (см. Ч е р н ы ш е в с к и й, т. IV, стр. 696—701).

⁸³ «Отечественные записки», 1857, № 1, отд. II, стр. 1—28. Вторая статья — там же, № 4, отд. II, стр. 49—72.

⁸⁴ А. В. Д р у ж и н и н. Повести и рассказы И. С. Тургенева. — «Библиотека для чтения», 1857, № 5, отд. «Критика», стр. 39 (курсив наш). Хотя в своей статье Дружинин поставил перед собой задачу открыть в таланте Тургенева такие стороны, на которые до него еще не указывала критика, тем не менее он повторил Дудышкина не только в оценке «Рудина», но и в ряде других мыслей. На это было обращено внимание

в анонимной статье «Новая эстетическая теория. Библиотеки для чтения» («Отечественные записки», 1857, № 4, отд. II, стр. 124—136).

⁸⁵ «Весьма замечательна также критическая статья г. Дудышкина о повестях и рассказах г. Тургенева. Критик верно оценивает всю двенадцатилетнюю деятельность писателя [...], доказывает ясно, как мелки идеалы, описываемые г. Тургеневым в его повестях. Это все тот же измывавший Печорин, с жаждою деятельности, при душевной и телесной апатии, с презрением к скромному, честному труду, видящий в нем одну пошлость жизни и не понимающий, сколько пошлости заключается в этом страшном, даже комическом искании одних сильных ощущений, в стремлении сделать что-нибудь великое, ровно ничего не делая». — «Сын отечества», 1857, № 6, стр. 137. Автором статьи был В. Р. Зотов (см.: Б. Ф. Егоров. В. Р. Зотов — критик и публицист 1850-х гг. — «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 78. Труды по русской и славянской филологии, вып. II, 1959, стр. 141).

⁸⁶ Чернышевский, т. IV, стр. 701. — Эта мысль была ясна и многим другим современникам. Так, Е. Я. Колбасин, сообщавший жившему за границей Тургеневу литературные новости, изложил в письме к нему основные мысли статьи Дудышкина и дал ей такую оценку: «Недобросовестность и задние идейки, недостойные порядочного человека, делают всю критику гадчайшею [...] Возьмись за этот самый вопрос человек с чистой совестью, всякий волен был бы согласиться или не согласиться, но никто не был бы возмущен и не послал бы критику — подлеца». Дальше Колбасин пишет о возмущении Л. Толстого статьей Дудышкина (Т. и круг «Совр.», стр. 314).

⁸⁷ Чернышевский, т. IV, стр. 698—699.

⁸⁸ Там же, т. III, стр. 567—568.

⁸⁹ Добролюбов, т. II, стр. 62, 49—52, 56, 58—59, 61. — Эти намеки на революцию выброшены были из статьи Добролюбова цензором.

⁹⁰ Герцен АН, т. XIV, стр. 118—119.

Т. И. Усакина полагала, что статья «Very dangerous!!!» является откликом только на «Литературные мелочи прошлого года», потому что, как свидетельствует сам Герцен в письме к М. К. Рейхель от 20 мая 1859 г., его статья была закончена 8 мая (ст. ст.) 1859 г. По мнению Т. И. Усакиной, Герцен не мог ознакомиться со статьей «Что такое обломовщина?», напечатанной в пятой книжке «Современника» (подписана к печати 11 мая 1859 г.) еще и потому, что статья «Very dangerous!!!» была напечатана в «Колоколе», л. 44, 1 июня 1859 г. (Герцен АН, т. XIV, стр. 493). Однако в статье Герцена имеются места, явно перекликающиеся со статьей «Что такое обломовщина?», например, слова о том, что теперь, когда в России не может быть «лишних людей», «очень естественно Онегины и Печорины делаются Обломовыми». Герцен мог прочитать статью Добролюбова и внести дополнение в корректуру своей, ранее написанной, статьи.

⁹¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 261.

⁹² Герцен АН, т. XIV, стр. 317, 320, 321, 325.

⁹³ См.: Н. Л. Бродский. Тургенев в работе над романом «Накануне» («Свисток», 1922, № 2, стр. 80—91); М. К. Леман. Комментарий к «Гамлету и Дон-Кихоту» (Соч. 1930, т. XII, стр. 535—536); он же. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л., 1936, стр. 113; он же. Комментарий к роману «Накануне» (И. С. Тургенев. Накануне. Отцы и дети. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 519); Р. Бондцкий. Послесловие к роману «Накануне» (И. С. Тургенев. Накануне. М.—Л., Гослитиздат, 1949, стр. 141—142); А. И. Батюто. Комментарий к «Накануне» (III, 376); Г. Б. Курляндская. Романы И. С. Тургенева 40-х — начала 60-х годов («Учен. зап. Казанск. гос. ун-та», т. 116, кн. 8. Кафедра литературы, 1956, стр. 96—98); Ю. Г. Оксман. Тургенев и Герцен в полемике о политической сущности образов Гамлета и Дон-Кихота. — Научный ежегодник за 1955 г. Саратовск. гос. ун-т, филолог. факультет, отд. III, 1958, стр. 27; Ю. Д. Левин. Комментарий к статье «Гамлет и Дон-Кихот» (ПСС VIII); И. А. Винникова. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Очерки и наблюдения. Под ред. Е. И. Покусаева. Саратов, 1965, стр. 6—30 (глава «Статья „Гамлет и Дон-Кихот“ и демократический герой в романе „Накануне“»).

При выходе в свет романа современники тоже отметили его связь со статьей «Гамлет и Дон-Кихот». См. Н. К-ский (Н. Н. Булич). Две повести Тургенева «Накануне» и «Первая любовь», — «Русское слово», 1860, № 5, отд. II, стр. 16; М. И. Драга и. О повести Тургенева «Накануне». — «Наше время», 1860, № 9.

⁹⁴ Первое упоминание о задуманной статье встречается в письме к Панаеву от 3/15 октября 1856 г., в котором Тургенев сообщает, что она будет готова до Нового года (П III, 19). Однако статья тогда не была написана. В письме к Панаеву от 6/18 марта 1857 г. Тургенев снова подтверждает, что статья «почти совсем готова» (П III, 106). По-видимому, он уже начал работать над ней. В описании черновой тетради из парижского архива Тургенева, сделанном А. Мазоном, упоминается план статьи «Гамлет и Дон-Кихот», на первом листе которого указаны даты начала и конца написания статьи: «Начато 11-го марта /27-го февраля 1857 г. в Дижоне, в среду. Кончено 28-го дек. 1859/9-го янв. 1860 г. в С.-Петербурге в понедельник. Писано с большими пере-

рываши» (М а з о н, р. 58. — По-видимому, эти даты относятся не к плану статьи, как полагает А. Мазон, а к ее тексту).

⁹⁵ Исследователи творчества Тургенева берут под сомнение это свидетельство писателя, ссылаясь при этом на два письма Тургенева к С. А. Миллер (в замужестве Толстой), от 12/24 октября 1853 г., где Каратеев уже упоминается в качестве знакомого, и к Некрасову от 29 октября/ 10 ноября 1854 г., в котором Тургенев сообщает, что привезет с собой из Спасского «небольшую, но очень недурную повесть Каратеева (которого ты у меня видел)». По-видимому, Тургенев предназначал ее для «Современника». На основании этих данных возникновение первоначального замысла «Накануне» отодвигают или к 1853 г., как это сделал без всяких пояснений А. И. Батюто в примечаниях к роману (III, 373), или к 1854 г., как предположил М. К. Клеман: «Судя по <...> письму Тургенева к Некрасову (29 окт. 1854 г.), рукопись Каратеева (вряд ли здесь идет речь о какой-нибудь другой) была известна Тургеневу еще за год до отъезда Каратеева на войну — не в 1855-м, а в 1854-м году» (Соч. 1930, т. VI, стр. 371). Эту же мысль Клеман высказывает и в комментариях к «Накануне» (И. С. Т у р г е н е в. Накануне. Отцы и дети. Подготовка текста и комментарии М. К. К л е м а н а. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 498).

В академическом издании сочинений Тургенева комментатор (А. И. Батюто) относит предположительно возникновение замысла «Накануне» к 1853 или 1854 г. (ПСС VI, 436).

Однако это только гипотезы, которым можно противопоставить иные предположения. Прежде всего, неясно, почему изучающие историю творческой работы Тургенева над «Накануне» берут под сомнение воспоминания Тургенева о В. Каратееве и полагают, что Тургенев перепутал события, отнес к 1855 г. передачу Каратеевым тетрадки с рассказом о своей любви к девушке, уехавшей с болгаринами на его родину. В действительности Тургенев точен: то, что Каратеев уходил в Севастополь с ополчением в 1855 г., подтверждается письмом Тургенева к Дружинину от 20 августа/ 1 сентября 1855 г., где он пишет: «Бедный Каратеев был у нас накануне выступления в поход с ополчением» (II, 308). И нет данных для предположения, что память изменила Тургеневу, когда он в предисловии к романам (в издании «Сочинений» 1880 г.) рассказал о Каратееве и его тетрадке. Знакомство с Каратеевым в 1853 г. само по себе не может являться доказательством, что именно в этом году Тургенев получил тетрадку с описанием его отношений с девушкой, полюбившей болгарина. Неизвестно также, почему ставится знак равенства между «небольшой, но очень недурной повестью Каратеева», о которой Тургенев писал Некрасову в октябре 1854 г., и той тетрадкой, которую Каратеев передал Тургеневу, уходя на войну. Прочитав рассказ Каратеева, этот прообраз «Накануне», Тургенев заметил: «История этой любви была передана искренне — хотя неумело. Каратеев, действительно, не был рожден литератором» (XI, 406). Последнее замечание как бы подводит итог неоднократным впечатлениям Тургенева от проб пера Каратеева. «...романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный при том своеобразным юмором», как характеризует его Тургенев (XI, 405), Каратеев мог «пописывать». Благожелательный к молодым начинающим писателям, Тургенев, возможно, хотел ему помочь в напечатании той повести, о которой идет речь в письме к Некрасову от 29 октября 1854 г., и ни откуда не следует, что эта повесть и была рассказом на сюжет будущего «Накануне», рассказом, не доведенным до конца, как указал Тургенев, «набросками», как, по его словам, называл их сам автор (XI, 406).

Вряд ли Тургенев захотел бы поместить в «Современнике» незавершенную вещь. К тому же, работая над «Накануне», Тургенев говорил, что «занят планом повести, мысль которой извлечена мною из одного рассказа Каратеева» (II III, 289). Выделенные нами слова «из одного рассказа» не оставляют сомнений, что у Каратеева были и другие произведения.

⁹⁶ Чернышевский, т. IV, стр. 295—296.

⁹⁷ См. об этом: М. О. Г а б е л ь. Вопросы изучения творчества И. С. Тургенева. Харьков, 1959.

⁹⁸ В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 261; т. 23, стр. 398.

⁹⁹ В литературе, посвященной статье «Гамлет и Дон-Кихот», было высказано мнение, что Тургенев со своей трактовкой героя Сервантеса выступил против интерпретации Герценом образа Дон-Кихота, данной в «Письмах из Франции и Италии» (1855). Говоря здесь об обанкротившихся деятелях революции 1848 г., Герцен характеризует их как смешных Дон-Кихотов. Позднее Герцен согласился с тургеневской оценкой Дон-Кихота и признал этот образ героическим. В «Концах и началах» (1862) он называет Гарибальди и Мацини «великими безумцами, святыми Дон-Кихотами».

¹⁰⁰ Добролюбов, т. II, стр. 229.

¹⁰¹ В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 206.

¹⁰² Н. В. Щ е р б а н ь. Тридцать два письма И. С. Тургенева и воспоминания о нем. — «Русский вестник», 1890, № 7, стр. 13. — Тургенев цитирует слова Гриньева из «Капитанской дочки» Пушкина, гл. XIII.

¹⁰³ Цит. по статье Клемана «И. С. Тургенев и Проспер Мериме». — «Лит. наслед-

ство», т. 31-32, 1937, стр. 716. — Этот страх перед крестьянским движением до конца жизни не покидал Тургенева (см. воспоминания Я. П. Полонского «Тургенев у себя в его последний приезд на родину» — в кн.: Я. П. П о л о н с к и й. На высотах спиритизма. СПб., 1889).

¹⁰⁴ См. письмо к С. Т. Аксакову от 16/28 октября 1855 г. (П II, 317—318).

¹⁰⁵ См. письмо к И. С. Аксакову от 13/25 ноября 1859 г. Мысль, что в основу характера Исарова положена идея общенациональной борьбы, была высказана М. К. Клеманом в комментариях к «Накануне» (И. С. Т у р г е н е в. Накануне. Отцы и дети. М.—Л., 1936, стр. 520—521).

¹⁰⁶ Письмо к Л. Фридлиндеру от 25 декабря 1875/6 января 1876 г.

¹⁰⁷ Г е р ц е н АН, т. XIV, стр. 239, 242—243.

¹⁰⁸ Там же, стр. 270.

¹⁰⁹ Там же, т. XII, стр. 436.

¹¹⁰ В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 259.

¹¹¹ Г е р ц е н АН, т. XIII, стр. 363.

¹¹² В настоящей статье нет возможности остановиться на всесторонней характеристике отношений Тургенева и Герцена. Об этом см.: С. Р е й с е р. Тургенев — сотрудник «Колокола» (ТСБ. Орел, 1940, стр. 136—147).

¹¹³ Ч е р н ы ш е в с к и й, т. VII, стр. 713.

¹¹⁴ Там же, стр. 449. — Чернышевский намекает на Боткина («рассудительного, умеющего так хорошо упрочивать свое состояние», «полученное по наследству») и на Анненкова («с таким достоинством держащего себя в кругу людей с состоянием», хотя и не получившего большого наследства).

¹¹⁵ «Что за человек Бакунин, спрашиваете вы? Я в Рудине представил довольно верно его портрет», — писал Тургенев М. А. Маркович 16/28 сентября 1862 г. То же рассказала со слов Тургенева в своих воспоминаниях Н. А. Островская («Тургеневский сборник». <Пг., 1915>, стр. 95).

¹¹⁶ С. Т. А к с а к о в. Письмо к Тургеневу от 18 февраля 1856 г. — «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 580.

¹¹⁷ Вопрос о Бакунине как прототипе Рудина рассмотрен в статье Н. Л. Бродского «Бакунин и Рудин» («Каторга и ссылка», 1926, № 5, стр. 136—169), и нет нужды здесь снова возвращаться к нему.